DK
111
G6

3 1761 07035242 2

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/smutnoevremia00gote

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Проф. Ю. В. Готье

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

ОЧЕРК ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДВИЖЕНИЙ НАЧАЛА XVII СТОЛЕТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1921

LIBRARY
JUN 7 1971
UNIVERSITY OF TORONTO

DK
111
G6

ВВЕДЕНИЕ.

Что такое Смутное время?

Смутным временем обычно называют промежуток в пятнадцать лет между смертью последнего царя Рюриковича в 1598 году и избранием на престол первого царя из дома Романовых,—Михаила Федоровича, в 1613 году. Это было время глубоких потрясений Русской земли, время, когда Московское государство опустошалось гражданской войной, было почти покорено иноземцами, в корень разорялось и своими и чужими. За эти пятнадцать лет Россия видела несколько политических переворотов, попытки поднять одни части населения на другие, борьбу партий со свойственным такой борьбе ожесточением, примеры ужасающей жестокости, беспощадной мести и в то же время проявления высоких доблестей гражданских и военных. Пересказать главнейшие события этого тревожного времени, когда самостоятельность русского народа и русского государства стояла на краю гибели, составляет задачу предлагаемого очерка. Чтобы рассказ ближе заинтересовал читателя, не лишним кажется мне попытаться объяснить, что значат в истории государства и народа такие моменты, как смута, потрясшая наше отечество три века назад.

Между жизнью народа и жизнью государства, наиболее сложной и совершенной организацией, созданной народом,—с одной стороны, и жизнью отдельного человека—с другой, есть очень много общего. Человек, родившись, растет, развивается, зреет, входит в силу; потом мало-по-малу приходит старость, появляются признаки одряхления и, наконец, наступает смерть. Жизнь народа длится не десятки, а сотни, иногда тысячи лет; мы называем ее—и с т о р и е й: ее продолжительность зависит, как и жизнь человека, от тысячи самых разнообразных причин: от происхождения

народа, от условий, в которых он живет, от толчков, даваемых соседями, и от событий, охватывающих иногда целые части света. Но в главных своих чертах жизнь народа протекает так же, как и жизнь отдельных людей. Народ нарождается, уходя и откалываясь от родного племени, занимая и заселяя новые девственные пространства земли, покоряя другие народы и племена и постепенно сливаясь с ними в один новый народ. Новый народ зреет и развивается; он умножается в числе и создает прочные формы своего существования; он переживает время духовного роста и развития, идет вперед в культуре и цивилизации, пролагает новые пути в науках и искусствах. Во время роста и развития своего народ закладывает обычно и основы своей государственности, созидает тот большой союз, в который должны входить все, кто принадлежит к этому народу, союз, который воплощает в себе жизнь всего народа и обеспечивает интересы каждого отдельного лица. Союз этот, самое мощное и самое необходимое, что должен создать народ в своем жизненном росте, мы называем государством. Когда слагается государство, заканчивается время детства народа; он входит в полосу юности, в которой его развитие делает дальнейшие успехи, дальнейшие шаги вперед к могуществу и зрелости, длящимся нередко целые века. Однако и существование народа имеет свой конец. Слабеют жизненные силы; внутри развиваются нестроения, вражда, которые поражают и народ и государство, им созданное, народ уже не в силах отражать внешних ударов, не в силах защищаться от нападающих на него врагов; в конечном итоге народ и государство перестают существовать, уступая место новым, свежим племенам, перед которыми лежит тот же путь роста, развития, зрелости, одряхления и смерти.

Сходство между жизнью народа и государства и жизнью отдельных людей можно усмотреть не только в общем ходе жизни, но и в отдельных, часто очень существенных подробностях. Развитие может итти правильно, но его закономерный ход может быть нарушен толчками и потрясениями. Если жизнь народа развивается правильно, то, как и в жизни отдельного человека, ход ее отличается медленностью и постепенностью; один возраст незаметно сменяет

другой; могучая зрелость заступает место здоровой юности, и самая старость бывает в таком случае постепенным завершением долгой жизни. Такой путь развития народа в его истории носит обычно название эволюции. Но народ, совершенно так же, как человек, может подвергнуться болезням, переживать опасные для жизни переломы, бурные проявления острых недугов и затяжные хронические боли. Нередко посторонние условия задерживают правильное развитие народной жизни; искусственно преграждаемый рост человека вызывает болезненные наросты и уродства; затор, искусственная плотина тоже вызывает бурю в потоке народной жизни: его воды поднимаются, прорывают плотину и затопляют огромные пространства. Нарушенная правильность восстанавливается лишь спустя долгое время. Уклоняясь от правильного развития, жизнь народа может попасть в тупик, в противоречие с самой собою. Нормальным путем народ и созданное им государство не в силах выйти из исторических тупиков и противоречий; для этого нужны резкие, большей частью насильственные сдвиги. Такие сдвиги, являющиеся последствиями исторических болезней страны и вместе с тем средством исцелиться от них, носят в жизни народа название революций.

Революция совершилась. Сдвиг в жизни народа и государства, тесно и неразрывно связанных один с другим, произошел. Прорвавшаяся плотина вызвала широкое разлитие вод. Нескоро бурный поток входит в свое привычное русло. Вода спадает медленно; река меняет иногда свое ложе и течет по измененному направлению. Долго продолжающийся постепенный отлив протекает неравномерно, неоднократно сменяясь новыми приливами. Конечное успокоение потока ведет чуть не к временному его пересыханию. Нечто подобное бывает и в исторической жизни. Сила прежней болезни вызывает силу в сдвиге; сила революционного сдвига порождает силу и длительность следующего за ним неспокойствия. Чем глубже болезнь, чем резче сдвиг, тем дольше жизнь народа и государства не может возвратиться в свои исторические рамки. Колебания и нестроения, вызванные революционным потрясением, выражаются в государственных и общественных смутах, сила

и длительность которых зависит от размаха революции и от породивших ее причин. Улегшаяся, наконец, смута сменяется спокойствием; разочарование и утомление нередко вновь вызывают к жизни такие явления, которые, казалось, навсегда исчезли во время революции. Усталость, с одной стороны, чрезмерная резкость революционных проявлений—с другой, вызывают подчас сильное влечение к прежнему, к отжитому, к тому, что прежде казалось особенно вредным, даже ненавистным. Оживляемое на время прошлое, даже дореволюционное прошлое, или, по крайней мере, стремление к нему, временное отклонение маятника в сторону, противолежащую той, в какую он отодвинулся при первом революционном ударе, носит на языке истории название р е а к ц и и.

Конечное успокоение народа после пережитых болезней и переломов очень часто сопряжено бывает с подъемом и развитием его творческих сил и способностей. Нужды нет, что когда-то жизнь народа отклонилась от правильного пути; пережитое потрясение все же привело к восстановлению равновесия.—Восстановленный физически и духовно народ с новой энергией и силой устремляется в дальнейший исторический путь. И в этом жизнь народа подобна жизни отдельного человека: перенесши тяжелую болезнь, обрушившуюся на давно подготовленный для нее организм, и успешно с нею справившись, человек кажется иногда обновленным, полным сил. Он бодро и смело идет далее по своей жизненной дороге, и ему кажется, что далее уже нет для него ни препятствий, ни болезней, что жизнь потечет для него гладко, безмятежно и бесконечно.

Все народы, оставившие по себе память в истории человечества, переживали болезни, подобные только что описанным. Возьмем для примера хотя бы только величайшие народы Западной Европы—наших недавних врагов и друзей—немцев, французов, англичан. В XVI столетии Германский народ, политически разделенный на мелкие части, притесняемый многочисленными светскими государями и духовными князьями, забывшими свою принадлежность к церкви Христовой, угнетенный поборами и податями, поднялся. Мятежами и волнениями наполнены в его истории несколько десятилетий, приведшие к глубоким изменениям

в управлении, в быте народа, а главное - в его духовной жизни. Национальная церковь — вот та сила, которую почерпнул немецкий народ в том великом перевороте, за которым так и осталось название церковной «реформации», т.-е. преобразования. Сто лет спустя английский народ, еще в средние века выработавший оригинальные формы государственной власти, которые давали ему возможность участвовать в управлении страной на - ряду с королем, восстал против государей, стеснявших политическое развитие страны и старавшихся вернуть в нее давно изжитые и ставшие ненавистными церковные порядки. Последовал ряд революционных порывов, сопровождавшихся гражданскими войнами, пролитием крови, восстанием брата на брата. Но прошло время, наступило успокоение, и страна, обновленная и исцеленная, нашла в себе неведомый запас сил; она стала величайшей в мире империей, а ее политический строй стал образцом едва ли не для всего цивилизованного мира. В конце XVIII столетия наступил черед Франции: она тяготилась безответственным самодержавием королей, политическим рабством, которое французский народ давно перерос. Последовал взрыв первой французской революции. Ниспровергнуты были вековые устои страны, полилась кровь ее граждан; великие преступления совершены были во имя провозглашенной свободы. Чужеземцы едва не покорили только что освободившийся от внутреннего ига народ. И вот этот же народ нашел в себе самом силы для самого широкого воздействия на всю Европу, как с внешней стороны—в победоносных войнах наполеоновского времени, так, и это самое важное,—с внутренней стороны, ибо и наполеоновские армии разносили по различным уголкам Европы те идеи свободы, гуманности и просвещения, с которыми неразрывно связано представление о Франции XIX века.

Наше Смутное время было одной из тех болезней, которые русскому народу и тому государству, которое он создал, пришлось пережить в течение его многовековой исторической жизни. Оно было вызвано долго назревавшими болезненными явлениями, ярко проявившимися в русской жизни XV и XVI столетий. Оно выразилось целой цепью революционных сдвигов и переворотов, главными из которых были свер-

жение Годуновых, убийство самозванца, народные движения 1606 и 1607 годов и свержение царя Василия с престола. Каждый из таких сдвигов порождал более или менее долгие смуты, нестроения и мятежи. Были времена, когда владычество иностранцев, казалось, должно было положить окончательный предел самостоятельному существованию русского народа. Все это продолжалось более 10-ти лет. Народная память не выдвинула на первое место какого-нибудь одного революционного переворота, может быть, потому, что их было много и что следовали они очень быстро один за другим. Она более устойчиво сохранила представление о нестроениях и смутах, которыми наша родина была охвачена в течение всего времени от появления первого самозванца до первых лет царствования Михаила Федоровича. Этим надо, может быть, объяснить и самое название, которое наш народ дал этому времени. Теперь отделенное от нас тремя веками «Смутное время» представляется нам цепью революционных взрывов, развивавшихся непрерывно один за другим и несших за собой длительные колебания и волнения. Это—историческая болезнь народа и государства, во время которой жизнь нации подверглась смертельной опасности. Но здоровый организм ее справился с недугом, и понемногу в исторической жизни России наступило успокоение. Так же, как и сама болезнь, оно не было свободно от колебаний, от реакционных возвратов к прошлому. Пережив Смутное время, наша родина, однако, нашла в себе запас новой энергии, позволившей ее сделать дальнейшие успехи на историческом пути и подготовиться к высшему подъему своих исторических сил—к реформам Петра Великого.

Смутное время Московского государства подобно тем историческим болезням и потрясениям, какие имели место и в жизни других народов и государств и которые мы обычно называем революциями. Но жизнь одного народа не вполне совпадает в своем ходе и развитии с жизнью другого народа, точно так же, добавлю еще раз, как жизнь одного человека никогда не походит вполне на жизнь другого. Не совпадает полностью и течение одной и той же болезни у разных организмов. Схожая в целом с революцион-

ными переломами у других народов, спаянная в одно целое цепь революций, которую мы называем Смутным временем Московского государства, протекала с подробностями, одной ей свойственными. Они сообщили Смутному времени оригинальный исторический облик, отличающий его от революций других народов и в то же время и от новой революции, охватившей Россию в XX веке.

Рассказ о русских революциях начала XVII столетия и о сопровождавших их смутах читатель найдет в нижеследующем изложении.

ГЛАВА I.

Что подготовило смуту?

В половине XV столетия, точнее сказать, к вокняжению Ивана Васильевича III в 1462 году, московские великие князья уже успели выполнить бо́льшую часть той задачи, которая выпала на их долю после татарского разорения,—собрать воедино великорусские земли. Московское княжество, которое за сто с небольшим лет до того, при Иване Калите, не превышало третьей части теперешней Московской губернии, в 1462 году обнимало почти все пространство между Окой и верхней Волгой и далеко заходило к северу от последней до Белоозера и Вологды. При Иване III присоединение к Москве великорусских земель пошло еще быстрее. В 1463 году признали главенство Москвы великие князья ярославские; в 1474 г. потеряла самостоятельность оставшаяся еще независимой половина княжества Ростовского; в 1472 г. власть князя московского распространилась на великую Пермь, т.-е. на северное Приуралье; в 1478 г., после долгой борьбы, потеряла свою самостоятельность Новгородская республика; победа Москвы облегчена была там утомлением и раздражением новгородского простого народа против боярского сословия. «Новгородское государство» отделялось от Москвы небольшим по размерам великим княжеством Тверским, лежавшим на самой московско-новгородской дороге; в 1485 г. пробил час и этого до сих пор независимого куска русской земли. Тогда же признала власть Москвы далекая Вятка, когда то заселенная новгородской вольницей. В 1490 г. Иван Васильевич получил по завещанию половину великого княжества Рязанского, в последующие годы под его руку перешли земли Северские и Черниговские, до тех пор признавшие власть западно-русского государя—великого князя «литовского и русского». Преемнику Ивана III, его сыну Василию Ивановичу, осталось только довершить сделанное его отцом; он это и сделал, присоединив к Московскому княжеству Псков (1510 г.), Смоленск (1514 г.) и вторую половину княжества Рязанского (1517 г.).

Так в начале XVI столетия объединилась северо-восточная Русь; к ней примкнули вольные города русского севера и некоторые русские земли, ранее входившие в состав Литвы. Все эти земли вместе составили Московское

государство, границы которого более или менее совпадали с пределами расселения великорусской ветви русского племени. Одной из причин успеха Москвы в собирании русских земель было то, что она была защищена другими русскими землями от внешних врагов. Задача постоянно отражать внешнего врага, непрерывно бороться с ним, выпала на долю тех самых областей и княжений, которые потом становятся достоянием великих князей московских: Новгород вел борьбу со шведами и немцами, Тверь и Смоленск—с Литвой, северские князья и рязанские—с крымскими татарами. Князья суздальские и нижегородские, передавшие свои владения Москве еще при Василии Темном, стояли против поволжских татар. Москва, укрытая ими, крепла и росла и постепенно поглощала те самые земли, которые ранее служили для нее защитой. Когда собирание земель Москвою кончилось, обстоятельства сразу изменились. Новое государство уже не прикрывалось другими русскими землями, а вплотную подошло или к странам, жившим своей особой исторической жизнью, чуждой и враждебной Руси, или же к степям, по которым кочевали татары, совершая свои набеги на Русь.

Пограничная линия, которую приходилось теперь защищать Московскому государству, была громадна и совсем не соответствовала средствам, которыми государство располагало. Начиная от заволжских лесов, тянувшихся вдоль ее левых притоков, Ветлуги и Унжи, через Нижний-Новгород на юго-запад, мимо Мурома, Рязани, Тулы, Новосиля до Рыльска, Путивля и Чернигова, рубеж Московского государства беспрестанно подвергался нападениям татар, поделенных в то время между ханствами или царствами Казанским, Астраханским, Ногайским и Крымским. С 1500 г. до взятия Казани в 1552 г. можно насчитать до 13-ти крупных походов татар на московские пределы. Последнее появление татар под Москвой, где память об их набегах до сих пор живет в названиях Крымский брод, Крымский мост, относится к 1591 году. Почти каждый год можно было ожидать похода самого крымского хана, не говоря о мелких набегах, преследовавших цель набрать русских полоняников. Казань также делала набеги на русские пределы до самого конца своего самостоятельного существования: в 1540-х годах казанские набеги достигали Костромы, Плеса, Шуи и Галича. Чтобы защищаться от татар, Москва должна была неослабно стеречь свои границы. Ежегодно с Благовещенья до Филиппова заговенья, 14 ноября, на южной границе государства, по реке Оке, от Калуги до Рязани, выставлялось конное ополчение и усиливались гарнизоны крепостей—той же Калуги, Серпухова, Коломны и Переяславля-Рязанского (нынешнего г. Рязани); другое ополчение располагалось в Нижнем-

Новгороде и от него по Волге вверх до Плеса и Кинешмы и по Оке до Мурома. По словам Герберштейна, посла императора германского Карла V, конное ополчение, ежегодно стоявшее по южным границам Московии, доходило до 20.000 человек.

Такого же напряжения требовали отношения к Западному соседу—Литве. Соперничество между двумя центрами, собиравшими рассеянные русские земли,—Вильной и Москвой,—началось давно, но особенно острым стало оно с 1492 г., после смерти великого князя литовского Казимира Ягайловича. Если от 1492 года отсчитать сто лет, то выйдет, что 45 из них были заняты военными действиями против Литвы и Польши и только 55 приходятся на долю мира *). Таким образом год войны приходится на год с небольшим мира, и если тогдашние армии исчислялись не миллионами, а в лучшем случае десятками тысяч, то ведь надо помнить, что и население в Московском государстве в половине XVI столетия было не 170 миллионов, как в России 1914 года, а всего, вероятно, не более 4—5 миллионов жителей.

Присоединив Новгород и Псков, Москва унаследовала внешние отношения северно-русских республик. Отношения эти были связаны с обеспечением торговли между Новгородом и Западной Европой. Путь из Новгорода в Европу был в руках Швеции и Ливонии, далеко не дружески настроенных к русским. В 1491 году, 13 лет после присоединения Новгорода к Москве, вспыхнула война со Швецией, вызванная тем, что в Ревеле задержали нескольких русских и даже сожгли их. Ливонские рыцари неоднократно выступали союзниками Литвы, и не раз Москва терпела поражения от их прекрасно вооруженных полков. Во второй половине XVI века союз между Литвой, Польшей, Швецией и остатками Ливонского ордена преградил дорогу стремлениям царя Ивана Васильевича Грозного более твердой ногой стать на берегах Балтийского моря. Итак, с Ивана III до самого Смутного времени Московскому государству приходилось иметь наготове войско и испытывать постоянное напряжение своих сил.

Для обороны страны государство нуждалось в деньгах и людях. При тогдашнем малом развитии народного хозяйства и хозяйства государственного денег было очень мало. В конце столетия, при царе Федоре Ивановиче, ежегодные денежные доходы Московского государства равнялись, по

*) Первая война: 1492—1495; 2-я—1500—1503; 3-я—**1507**—1508; 4-я—1512—1522; 5-я—1534—1537; 6-я (г. наз. Ливонская)—1558—1582.

словам посланника королевы английской Елизаветы, Джайльса Флетчера, 1.430.000 рублей. Сравнивая эту цифру с хлебными ценами, мы придем к выводу, что полтора миллиона того времени соответствуют 35—40 миллионам рублей 1914 года или 3—4 миллиардам 1919 года. Конечно, средства эти были очень не велики, однако и они должны были очень возрасти со времени Ивана III. Сопоставляя вместе все сведения, которые мы имеем о налоговом обложении в XVI столетии, мы должны будем притти к выводу, что оно возрастало непрерывно, и что особенно значительное повышение его приходится на последнее время Ливонской войны и на царствование Федора Ивановича. Так наряду с напряжением военным намечались и признаки напряжения экономического, падавшего на плательщиков податей, т.-е. на ту часть населения, которую позднее обычно называли податными людьми, а в то время «черными» или «тяглыми»: это были жители немногочисленных и небольших русских городов и посадов и деревенские мужики, крестьяне.

Несмотря, однако, на увеличение налогов, денежных средств у московского правительства было все-таки слишком мало, чтобы содержать необходимые для защиты государства армии; за недостатком денег оно прибегало к тому капиталу, которым владело в избытке,—к земле. Создавая и усиливая армию, которая нужна была ему для ведения обороны страны, Московское государство наделяло воинов землею, служившею в одно и то же время и средством для пропитания, и жалованием за службу. Но кто же были эти воины? Конная армия, которая, по свидетельству Герберштейна, доходила до 20.000 человек, а в конце века, по свидетельству другого иностранца, Флетчера, до 80.000, была очень различна по своему составу и происхождению. Правительство формировало ее в течение целого столетия, предшествовавшего смуте, включая в нее прежних советников и дружинных слуг князей московских и князей удельных, переходивших вместе со своими дворами на службу московского государя, освобожденных от татар полоняников, возвратившихся на родину, а более всего, кажется, тех же крестьян. Сначала постоянные военные силы создавались по преимуществу, конечно, в пограничных областях, где они сравнительно легко и быстро могли быть мобилизованы. Впрочем, раз тяглый человек попадал в число постоянных вооруженных слуг государства, он уже переставал быть крестьянином; он становился человеком служилым, пожизненной обязанностью коего было по первому призыву выходить на военную службу. В XVI столетии у рядового служилого человека еще не было никаких прав: у него, как у крестьянина, были только обязанности, хотя обязан-

ности тех и других были различны и служилый человек в силу обстоятельств превращался постепенно в хозяина и распорядителя крестьянского труда.

Дело в том, что служилый человек, получая в обеспечение участок земли, должен был содержать себя сам; он мог это сделать только, если участок его обрабатывался, был не пустым, а заселенным, или, как тогда говорили, «живущим». Так как не только сам владелец участка был обязан служить, но также и все дети его, начиная с 15 лет, то обязанность обрабатывать землю на служилых участках, которые назывались «поместьями», падала на крестьян. Давая земельный участок служилому человеку, государство давало ему и некоторые права на труд крестьянина, который уже сидел на таком участке. Если же участок был пустым, то служилый человек получал право призывать крестьян в свое поместье. Если землю надо было распахать под нивы, то крестьянин получал на некоторое время льготы. Однако через несколько лет владелец поместья все-таки приобретал право распоряжаться трудом крестьянина. Крестьянин еще не терял от этого своей свободы; он мог, если желал, перейти от одного землевладельца к другому, но для этого он должен был расплатиться, учинив с ним полный расчет. Обычная недостаточность и задолженность крестьянина и сложность хозяйственных отношений лишь в редких, сравнительно, случаях давали крестьянину возможность рассчитаться с помещиком. Со своей стороны правительство, преследуя свои военно-организационные цели и ревниво оберегая с трудом создаваемые военные силы, старалось, по возможности, приурочить расчеты к одному времени года—к осеннему Юрьеву дню (26 ноября), а иногда, особенно в моменты большого военного напряжения, и вовсе запрещало переходы, объявляя год «заповедным». Кроме того, в половине XVI века было введено правило, по которому с каждых 150 десятин владелец должен был выводить одного вооруженного человека: все недостающее количество людей, которое не могли поставить служилые люди из своей среды, падало на крестьян, живших на земле помещика. Последний таким образом приобретал возможность и даже право включить крестьянина в число рекрутов или, как тогда говорили, «даточных людей». Таким образом постепенно закладывались основы будущей крепостной зависимости; она развилась позднее, но ее основные черты можно наметить и уловить еще до смуты.

И служилый человек и крестьянин были оба впряжены в вечную службу государству, нуждавшемуся в них для защиты страны от окружавших ее опасностей. Оба закрепостились; один служил без отпуска, без льготы, часто

без перерывов; другой не только платил все возраставшие налоги, но постепенно терял свою гражданскую свободу, т.-е. те небольшие личные права, которые можно для того времени называть правами гражданина. Может быть, не все чувствовали перемену в своей жизни; но некоторым вечная служба и нараставшая крепость были в тягость; в населении накапливались раздражение и недовольство. Единственным выходом из создавшегося положения было до поры до времени только уклонение от тяжелых обязанностей; оно было возможно в виде ухода, бегства. Мы сейчас увидим, куда уходили русские люди XVI столетия от тяжелых обязанностей, возложенных на них государством, которое для защиты страны должно было без жалости пользоваться всеми силами, какими могло располагать. Пока заметим только, что несоответствие между средствами страны и задачами, которые выпали на ее долю, поставило в тяжелое положение бо́льшую часть ее населения и создало недовольство своей участью,—первый признак надвигавшегося острого недуга русской земли.

Земля и воля — два призрака, за которыми русские гнались в XVI веке с таким же страстным желанием, как и позднее. Обремененный службой и всякими повинностями, русский человек всякого звания мечтал уйти в такие места, где бы и сам он, и та земля, которую он будет обрабатывать, были избавлены от каких бы то ни было обязательств, где и люди, и земли были бы свободны. Не дорожа государством и не сознавая, что, несмотря на все тяготы и неудобства, от него происходящие, именно оно, государство, является самой надежной защитой от опасности со стороны врагов внешних, русский человек охотно покидал пределы Московского царства и шел искать приволья в необозримых пространствах, отделявших владения государей московских от татарских царств Крымского и Казанского. Если вспомнить, что граница Московского государства при Иване III шла приблизительно по линии Нижний-Новгород, Тула, Новосиль, Путивль, Чернигов, то легко видеть, что вне ее лежала бо́льшая часть плодородных черноземных земель, позднее сделавшихся житницей России. Уход населения со старых насиженных мест не подлежит никакому сомнению; он начался в 60-х годах XVI века и подтверждается очень многими свидетельствами. Дорога из Москвы на Ярославль и Вологду, первое звено пути к морю, сообщавшему Московию с остальным миром, еще в 60-х годах пролегала через самую населенную часть страны; между тем, 20 лет спустя посол королевы Елизаветы Флетчер нашел на этом пространстве до 50 покинутых деревень. В окрестностях Москвы, в Звенигородском

уезде, было довольно много вотчин, принадлежавших Троице-Сергиеву монастырю, одному из самых богатых землевладельцев того времени: в 1559—1560 г.г. вотчины эти состояли из 56 селений; в 1593 г. в них осталось только 12 селений, остальные же превратились в пустоши. В 1578 году в г. Коломне стояли пустыми 93 с половиной процентов всех городских дворов; в Муроме в 1566 г. было 557 жилых дворов (70%) и 15 пустых (30%): 18 лет спустя отношение переменилось: жилых было всего 15%, пустых — 85%; в Можайске, городе в то время более значительном, чем теперь, было в 1593 г. 89% пустых дворов. То же самое было в Новгородском крае; огромная часть его, носившая название Деревской пятины, имела в 1496 г. 7859 селений и 100 починков, при которых перечислены были еще 279 пустошей; в 1590 году картина совсем иная: при 6000 пустошах описание пятины насчитывает всего 187 деревень. В Вышнем Волочке, Боровичах и нескольких других рядом расположенных полугородских, полудеревенских поселках в 1546 году было 230 населенных дворов, в 1570-х годах — 191, а в 1583 г. всего 87 дворов. Число примеров, показывающих убыль населения в старых государственных областях, можно было бы увеличить до бесконечности.

Какие же последствия вытекали отсюда для тех, кто оставался? Обреченные на несение все возраставших податей и повинностей, они беднели и слабели духовно, теряли наиболее энергичных людей из своей среды, погружались в тупое безразличное состояние, в глубине которого можно было различить то же недовольство, которое заставляло предприимчивых людей искать счастья на новых местах. Находили ли его там эти последние? Можно думать, что нет. Люди убегали в степное приволье от угнетавшего их государства, а государство распространялось на юг вслед за ними, настигало их на новых местах и заставляло вновь подчиняться себе или же бежать еще далее. Борьба с татарами была, в сущности, упорным, непрерывным наступлением Московского государства на степь; за столетие от Ивана III до смуты оно далеко шагнуло к югу и к востоку. Казань стала русской, Волга до самой Астрахани унизалась укрепленными русскими поселениями; на юге, в сторону Крыма при Иване IV и его сыне Федоре выстроены были крепости Курск, Воронеж, Ливны, Елец, Белгород, Оскол, Валуйки и другие, менее значительные. Строя крепости, государство соединяло их укрепленными линиями, селило в них вооруженных защитников и особенно старалось привлечь к защите государства тех самых людей, которые, незадолго перед тем уйдя с севера, разместились здесь в качестве вольных поселенцев. Общее благо, защита страны от

общего врага, безопасность внутренних областей опять тяжелым ярмом ложились на людей, не принимавших этого государства и бежавших от него. Вольная колонизация беглецов из Московского царства заливалась потоком колонизации государственной, и люди, только что сбросившие с себя казавшееся им невыносимым ярмо, с тревогой, болью и злобой должны были себя спрашивать, что делать им дальше. И здесь происходило отслоение более спокойных от более предприимчивых и беспокойных; первые мирились со своей участью, вторые стремились уйти далее и частью скоплялись вдоль самых границ, вокруг наиболее новых и выдвинутых в степь городов, частью же переходили в далекие вольные русские общины — на Дон и на Терек. Еще в конце XV века Иван III писал своей сестре, великой княгине рязанской, что из ее княжества «бегают на Дон разные люди». При Борисе Годунове положение на границах сделалось очень острым. Скоплявшийся по границам бродячий люд, обычно называвшийся казаками, стал предметом преследований со стороны правительства. «От царя Бориса казакам было гонение великое: не пускал их ни в который город, куда они ни придут, их везде хватали и по темницам сажали»[1]). Так говорит летописец, и слова его открывают яркую и отчетливую картину. К южным границам стекается неоседлое, полубродячее население, недовольное порядками, вводимыми московским правительством, и в то же время, являющееся для последнего предметом тревожных дум. Напряжение сил государства, вызванное вечной необходимостью обороняться, отозвалось уходом части населения на юг и хозяйственным запустением великорусского центра и нарушило нормальную жизнь страны. На юге же, во вновь заселенных областях, сосредоточивались горючие материалы; до поры до времени государство с ними справлялось, действуя теми средствами, какими обычно власть действует против сопротивляющихся ей. Но стоит только заронить в здание государства искру, эти горючие материалы быстро превратят ее в яркое пламя пожара.

Те, кто более всех хотел сберечь страну и государство от пожара, т.-е. сами государи и правящие круги, помогавшие им в управлении, на самом деле немало способствовали тому, что тлевшие искры разгорелись. Прежнее Московское княжество, княжество Калиты и Дмитрия Донского, было очень похоже на хорошо устроенную помещичью экономию, где заботливый хозяин из года в год, из поколения в поколение умножает свое добро, сам ведя свое дело и опираясь на помощь сотрудников, которых он умеет подобрать и заставить служить своим интересам. Такими сотрудниками были московские бояре; постепенно они стекались к московским князьям из других более бедных и бо-

лее слабых княжеств. В свое время они отстояли великое княжение за Дмитрием Донским и успешно защищали интересы великого князя Василия Васильевича Темного и его семьи против нападения Шемяки. Их было немного, «этих наследственных приказчиков московских князей», но служили они хозяевам верой и правдой, и хозяева ценили их службу. «С вами я держал 29 лет русскую землю, с вами противникам я был страшен в бранях,—говорил своим боярам Дмитрий Донской,—вам честь и любовь даровал, и вы назывались у меня не боярами, а князьями земли моей» [2]). Однако, когда Московское княжество сложилось в национальное великорусское государство, состав и характер сотрудников московских государей совершенно переменился. Прежде их было немного, но при помощи своих немногочисленных бояр, окольничих и слуг вольных московский князь всегда успешно справлялся и с дворцовым и с государственным хозяйством. С конца XV века, когда расширились и осложнились внешние и внутренние задачи Московского государства, его главе понадобился более многочисленный состав помощников; если же вспомнить, что, начиная с Ивана III, стала развиваться неограниченная власть московского великого князя, то нетрудно будет сделать вывод, что сотрудники нужны ему были покорные и послушные. Их надо было искать не среди старых боярских фамилий, а в кругах, не имевших никаких исторических традиций и привычек, т.-е. среди мелкого служилого люда, среди представителей той армии, которую московские государи создавали в течение всего XVI столетия, вещи ни же среди «поповичей или простого всенародства» [3]), выражаясь словами политического и литературного противника царя Ивана боярина князя Курбского. Так народилось московское дьячество, первое русское чиновничество. Имена влиятельных дьяков начинают все чаще и чаще встречаться уже при Иване III: когда великий князь отправлялся завоевывать Новгород, он взял с собой дьяка Степана Бородатого, ученого специалиста, «который умел говорить по летописцам русским» [4]), дьяк Владимир Гусев был составителем первого судебника, изданного в 1497 г. Великий князь Василий Иванович к неудовольствию бояр решал дела «сам третей у постели» [5]), советуясь с незнатным дворянином Иваном Юрьевичем Шигоной-Поджогиным и с дьяками, а власть его воспевал и возвеличивал псковский дьяк Мисюрь Мунехин. При Иване IV правительственными дельцами были также в значительной мере дьяки, беспрекословные исполнители воли московского государя: достаточно вспомнить дьяков, управлявших посольским приказом,—министров иностранных дел Ивана IV—И. М. Висковатова и Андрея Яковлевича Щелкалова.

По мере того, как прежний хозяйственный московский князь превращался в неограниченного монарха, который «властью своей превосходил всех монархов мира»[6]), вокруг него образовывалось чиновничество, или, как его иногда теперь называют,—бюрократия. Как всякое государство с неограниченным образом правления, Московское государство становилось бюрократическим или чиновничьим, и чиновничество оттесняло прежнее, привычное к власти и в свое время влиятельное боярство.

С другой стороны, его оттеснял новый слой больших бояр, появившихся при московском дворе, начиная с того же Ивана III. Присоединяя к Москве удельные и великие княжества северо-восточной Руси, Москва не изгоняла старых владельцев; она лишала их государственной власти, сохраняя, однако, за ними их вотчины и приглашая их на службу к московскому князю, который из собрата превращался в верховного господина. В Москву бывшие удельные князья приезжали с чувством развенчанных государей, с притязаниями за участие во власти и на особенный почет, и с удвоенной обидой смотрели на возраставшую неограниченную деспотическую власть московских государей. Они не учитывали исторического положения и не понимали, что та самая власть московского князя, которая лишила их уделов, будет препятствовать им сделаться постоянными и обязательными советниками великого князя, позднее царя, чего они усиленно добивались в течение всего XVI столетия.

Верхи московского общества, круги, правившие и имевшие притязания на власть, рисуются в XVI веке в таком виде: государь, правивший с помощью народившейся бюрократии или чиновничества, стремился к полноте власти, к удалению всяких помех с пути роста и развития своего самодержавия, как тогда начали называть неограниченную власть монарха. Старое московское боярство, сравнительно слабое, частью растворилось во вновь образовавшемся служилом сословии, частью примкнуло к понаехавшему в Москву удельному княжью, не сливаясь, однако, с ними вполне и составляя в придворной аристократии особую группу, во главе которой при Иване IV стояли Захарьины-Романовы и Годуновы. Удельное княжье, имевшее в конце века вождями князей Рюриковичей—Шуйских и Воротынских—и князей литовского происхождения, Гедиминовичей,—Мстиславских и Голицыных, богатое землями, дольше всех старалось сохранить некоторую независимость от власти великих князей и царей и долго старалось обеспечить за собой значение действительно влиятельной и правящей группы, вступив в длительную борьбу с государями при Иване III и продолжая ее при его сыне и внуке.

Однако, когда власть действительно на время перешла к потомкам удельных князей,—это было в малолетство Ивана Грозного,—они не только не сумели закрепить за собою влияние, но своими злоупотреблениями, неуважением к законам и к верховной власти, ссорами и из рук вон плохим управлением подорвали всякие остатки доверия к себе и всю свою популярность, если таковая вообще у них когда-либо была. Дурным ведением дел бояре облегчили и задачу, которую позднее поставил себе царь Иван Васильевич,—разгромить большое боярство, происходившее от удельных князей, отнимая у них земли и подвергая опалам и казням самых видных их представителей.

Таким образом к концу века или, по крайней мере, к концу царствования Ивана IV русские правящие круги не только не представляли собой единой и сплоченной группы, но распадались на три ветви: государя с чиновниками-дьяками, остатки прежнего московского боярства, давно распавшегося, но в общем пощаженного Грозным, и удельно-княжеское боярство, сильно Иваном разгромленное. В борьбе, которая разделяла эти три ветви, надо видеть отголоски давно начавшегося образования единого правящего класса; но ко времени смуты образование не было закончено. Слишком сложным и трудным было дело созидания Московского великого государства; одним из последствий этой сложности и была невозможность быстрой спайки отдельных групп, претендовавших на власть в стране. В то самое время, когда страна должна была развивать силу, не соответствующую ее средствам, в то время как перемещение населения сосредоточивало на южных границах горючие революционные материалы, люди, державшие власть в своих руках, боролись между собой. Случайное событие—исчезновение старой династии—должно было лишь усилить взаимные трения непримиренных между собой политических направлений и политических деятелей. А это не могло не отразиться в свою очередь на состоянии и настроении народных масс, обремененных тяжестью непонятных им государственных задач, усталых от экономической разрухи центральных областей и частью, особенно на юге, готовых к проявлению своего раздражения и недовольства революционным путем.

Если вглядеться в явления и события, которые мы только что сейчас описали, и вдуматься в их значение, то можно, кажется, притти к такому выводу: и недостаток средств и сил, и хозяйственные явления, и перемещение населения, и политическая борьба в высших кругах, — все это были последствия одного, коренного явления—самого образования Московского государства. В состоянии формирования и роста страна не пришла еще к равновесию и

правильному течению жизни; своими собственными силами она и не могла к нему притти, по крайней мере, в ближайшее время. Чтобы скорее достигнуть внутреннего развития и внутренней спайки всех частей великого целого —народа и государства, — чтобы сложилось вполне единое и цельное внутри великорусско-московское царство, стране надо было пройти через плавильный горн, через революционный взрыв. Таким взрывом и было Смутное время.

ГЛАВА II.

Начало смуты.

От причин, подготовивших Смутное время, надо отличать события, явившиеся внешними поводами к нему, его исходными точками. Причины смуты мы уже знаем: чрезмерное напряжение сил государства, нараставшее недовольство в народных массах, раскол в правящих кругах, борьба между царями, опиравшимися на созданное ими чиновничество, и высшим кругом общества. Однако, все эти явления могли бы продолжаться и нарастать еще долгое время; народный и государственный организм мог бы еще очень долго, подготовляясь к вспышке болезни, оставаться в наружно спокойном состоянии, если бы не произошли события, которые вывели его из внешнего состояния равновесия и, подобно каплям, переполняющим края чаши, послужили сигналом великого наводнения и потопа. Вот эти-то именно события и следует считать исходными событиями, с которых началось Смутное время.

Начало Смутного времени чаще всего относят к 1598 г., когда на русский престол был избран боярин Борис Федорович Годунов. Некоторые исторические писатели полагают, что Смутное время началось даже еще ранее, со смерти царя Ивана Васильевича Грозного в 1584 году, и таким образом относят к смуте все 14-тилетнее царствование его сына Федора Ивановича. Едва ли такое определение начала Смутного времени правильно; едва ли с ним можно вполне согласиться. Время настоящих смут началось только в первые годы нового столетия; первым революционным переворотом было происшедшее в 1605 году свержение царского дома Годуновых и воцарение названного царя Дмитрия Ивановича. Время от 1584 года до начала XVII столетия во многих отношениях спокойнее времен царя Ивана. Царствование царей Федора и Бориса — лучшее время русской земли до смуты, и даже после бури, пронесшейся над ним, народ хранил память о том, как хорошо жилось при последних царях старого времени. Тем не менее есть некоторые основания к тому, чтобы это сравнительно спокойное и хорошее время причислять к смуте: дело в том, что именно в эти годы случилось несколько очень важных событий, которые оказали огромное влияние на

все последующее время и которые и следует поэтому считать за капли, переполнившие чашу и разлившие поток народных волнений.

В военном отношении время царей Федора и Бориса было очень благоприятным: в 1582 году, т.-е. еще при Грозном, Московское государство заключило мирные договоры с Польшей и Швецией, поступившись всеми временными завоеваниями царя Ивана в Литве, а в пользу Швеции — даже исконными русскими владениями по берегу Балтийского моря, между устьями Невы и Наровы, с городами Ямами, Копорьем и Ивангородом. С этого времени наступил с Польшей более чем 20-летний мир, которым обе стороны дорожили одинаково искренно. Со Швецией этот мир был нарушен Москвою в 1590 году. В январе по зиме, русское войско, предводимое князьями Мстиславским и Хворостининым и сопровождаемое самим царем Федором, разбило шведов при Нарве и взяло г. Ямы. 25 февраля шведы заключили перемирие с уступкою Ивангорода и Копорья; при заключении окончательного мира, последовавшего после 4-летнего перемирия в д. Тявзине, близ Ивангорода, Москва, кроме трех вышеназванных городов, вернула себе Орешек в истоках Невы и Корелу на северном берегу Ладожского озера *). Короткая победоносная война и мир, возвративший России ее старые приморские владения на Балтийском море, мир прочный, не нарушаемый ни той, ни другой стороной, — к этому Московское государство не привыкло в непрерывные войны XVI столетия. Такая перемена в делах внешних не могла не отразиться и на делах внутренних. Государство, от которого временно, по крайней мере, не требовали новых средств на оборону, стало оправляться. Хозяйственные описания страны, предпринимавшиеся в конце царствования Федора Ивановича для выяснения того, насколько население было способно платить налоги, убеждают, что общее состояние угасавших старых русских областей вокруг Москвы становилось значительно лучшим. Сельское хозяйство поднимается, запашка увеличивается, перелог в самых запущенных местах сокращается нередко наполовину. Внутренняя политика при обоих царях имела одну определенную цель: поднять благосостояние средних классов общества — армии, служилых людей, с такими усилиями сформированной в XVI веке, и тяглого пахотного крестьянства, на плечах которого покоилась эта армия.

*) Ямы — ныне Ямбург, Петербургской губ.; Орешек - ныне Шлиссельбург, Петербургской губ.; Корела — ныне Кексгольм, Выборгской губ.; Ивангород — против Нарвы на правом берегу р. Наровы; Копорье — посад Петербургской губ.

Что такая политика оставалась все время единой и последовательной, не должно нас удивлять: ведь с 1586—1587 г.г. единым правителем государства был боярин Б. Ф. Годунов, избранный потом в преемники царю Федору. В 1597 году был издан указ о праве служилых землевладельцев в течение пяти лет сыскивать крестьян, ушедших с их земли без расчета, которые, как не расплатившиеся должники, считались беглыми. Установление определенных правил, по которым можно было отыскивать беглых, должно было облегчить и упростить хозяйственные дела помещиков. В 1601 и 1602 г.г. были объявлены заповедные лета для крупных землевладельцев, т.-е. был временно запрещен перевоз и переход крестьян на земли дворцовые, монастырские, боярские. Дело, однако, не коснулось мелкого и среднего, т.-е., главным образом, провинциального дворянства, за которым было оставлено право перевоза к себе крестьян. Однако, радея о дворянах, как о военной силе, предназначенной для обороны страны, правительство Федора и Бориса подчинило крестьян дворянам только в меру необходимости. Говорили даже о желании царя Бориса точно определить повинности крестьян в пользу землевладельцев; да и те указы, которые издавались, например, помянутый уже указ 1597 года, долго считавшийся признаком состоявшегося учреждения крепостного права, косвенно служил на пользу крестьянам, так как по миновании 5-летнего срока даже «беглый» мог считать себя свободным. Во всяком случае прежнее мнение о том, что Борис Годунов был основателем крепостного права в России, теперь безвозвратно оставлено. Никакой враждебности в его политике по отношению к крестьянам не было; не могло быть и среди крестьян чувства особой вражды к Борису или недовольства им. Крестьянская масса должна была испытать обостренное чувство раздражения и частью восстала против царя только после тяжелого голода 1601—1603 г.г.; до тех же пор «Бог благополучное время подавал», «всеми благами цвела Русь» и «московские люди начинали от скорбей прежних утешаться и тихо и безмятежно жить», «хваля всещедрого Бога за его благодеяния»[7]). Так говорили о времени Федора и Бориса.

Если внутренняя политика боярина, а потом царя Б. Ф. Годунова, проникнутая глубоким сознанием государственности, была направлена на пользу средних классов, которые не без основания рассматривались им, как столпы и основание Московского государства, то, наоборот, она была очень неблагосклонна ко всем, кто подтачивал государство или считал себя вне его рамок, безразлично, принадлежали ли эти лица к низам или верхам общества. Мы уже видели выше, с какой строгостью Борис относился к так называемым

казакам, т.-е. к накопившимся на южных границах Московского государства полубродячим людям, в душе своей носившим семена вражды и протеста против государства и общества. К фактам, приведенным раньше, прибавим еще один: в 1603 году известный впоследствии Захар Петрович Ляпунов, семь лет спустя сведший с престола царя Василия Шуйского, понес жестокое наказание за то, что посылал на Дон казакам «всякие запасы и заповедные товары». Человек, не принадлежавший к определенному кругу, должным порядком к нему не прикрепленный, по-тогдашнему казак, или «вольный гулящий человек», преследовался. Еще в 1585 г. был издан указ, содержащий правила о записи в холопство и запрещавший держать в холопах вольных людей, не закрепленных соответственными формальными документами. Те же постановления повторены были в 1597 г. Иначе, но с не меньшей энергией боролось правительство боярина и царя Бориса Федоровича с людьми, которые считали себя стоящими выше обычного и для всех обязательного порядка вещей, т.-е. с некоторыми группами большого боярства. Чтобы выяснить смысл событий, сюда относящихся, надо вспомнить, как на самом деле сложились политические отношения вокруг престола царя Федора и как видоизменились они, когда на русский престол вошел один из первенствующих членов московского боярства — Б. Ф. Годунов.

«Царь Федор ростом был мал, образ постничества носил, в смирение погруженный, он имел о душе попечение, на молитве всегда усердно стоял и нищим подавал милостыню, о мирских же делах он нисколько не заботился, но думал только о душевном спасении»[8]). Так описывает царя Федора русский современник, верно подметивший общий облик слабого телом и духом, но доброго и чистого сердцем последнего отпрыска московских Рюриковичей. Старый княжеский и царский род, создавший московское государство, изжил себя, выродился, и после Ивана III, Василия и Ивана Грозного угас в лице «маленького человека с тихим голосом», который, принимая послов, плохо слушал их высокопарные речи и «не переставал улыбаться, любуясь то на свой скипетр, то на державу»[9]): он точно отрешался от всего земного и прислушивался к каким-то внутренним, одному ему доступным голосам. Русский народ не раз выдвигал таких тихих подвижников из своей среды, и по игре судьбы таким именно подвижником был сын Ивана Грозного. Такой царь не мог управлять сам; власть неизбежно должна была перейти в другие руки. Нарождавшееся при прежних государях чиновничество было недостаточно еще сильным, чтобы захватить власть; власть должна была попасть к одной

из двух групп бояр, стоявших вблизи престола. Старые удельные князья, пытавшиеся оспаривать власть и влияние у московских государей, возглавлялись семьей князей Шуйских. Старший в семье, боярин князь Иван Петрович, только что перед тем отстоял Псков от Стефана Батория, короля Польши; его имя стояло высоко среди тогдашних русских людей; но бояре из удельных князей сильно ослабели от опал и казней Грозного. Против этой поредевшей группы стояли остатки прежних московских бояр, собиравших Московское царство вместе со своими князьями-государями. Они стали вновь сильными и оттого, что ослабели их соперники бояре-князья, и оттого, что двумя последовательными браками наиболее знатные представители прежнего московского боярства породнились с последними царями Рюриковичами. Матерью царя Федора и первой женою царя Ивана была Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева; его женою была Ирина Федоровна Годунова, сестра будущего царя. В первое время царствования Федора мы видели, что у действительной власти стояли представители обоих слоев боярства; это были — кн. И. Ф. Мстиславский, кн. Ив. П. Шуйский, боярин Никита Романович Захарьин-Юрьев и Борис Федорович Годунов. Но союз, созданный случайно, скоро распался: Н. Р. Захарьин-Юрьев умер в 1585 году, кн. Ив. Ф. Мстиславский вскоре постригся, едва ли вполне добровольно. Шуйские в 1587 г. попробовали свергнуть Годуновых, удалить их от царя; пытались даже устроить развод царя и царицы, но попытка разбилась о тонкость Бориса Федоровича и тихое упорство царя, отказавшегося расстаться с женою, данной ему Богом, и, судя по всему, нежно им любимой. Шуйские были удалены, частью погибли в ссылке. Выступивший вместе с ними князь Ф. И. Мстиславский, наследовавший от отца звание первенствующего боярина, был мало даровитым человеком; его пощадили, но значение его было ничтожно. Так развертывались отношения среди высшей правящей знати; они вели к тому, что уже в конце 80-х годов власть сосредоточилась исключительно в руках царского шурина Б. Ф. Годунова. С опалой Шуйских удалены были крупные люди из бояр-князей; более молодые и менее влиятельные держались пока в тени. В тени оставались до времени и сыновья Н. Р. Захарьина; старшему из них, Федору Никитичу, во время опалы на Шуйских не было и 30 лет; к тому же со смерти отца молодые Романовы находились некоторое время в единении и дружбе с Б. Ф. Годуновым. Дело сложилось так, что как-будто некому было препятствовать исключительному влиянию Годунова; на самом деле препятствия с его пути были отстранены только временно: и младшие представи-

тели бывших удельно-княжеских родов и молодежь из старого московского боярства могли соединиться и при случае выступить вместе против стремительно возвышавшегося Годунова. Приобретая силу и влияние, Борис Федорович тем самым становился все более и более одиноким, и в его одиночестве таились для него зародыши великой опасности.

В это время произошло первое из тех случайных событий, которые принято считать исходными точками Смутного времени. 15-го мая 1591 года семилетний царевич Дмитрий Иванович, младший брат царя, выйдя играть с маленькими товарищами на двор своего углицкого дворца, внезапно погиб. Дело было после обеда, когда все по тогдашнему русскому обычаю спали; спала царица-вдова Марья Федоровна, отдыхали по своим дворам ее братья Михаил, Григорий и Андрей Нагие. Смятение на княжеском дворе видели очень немногие, но кто-то дал знать о несчастии соборному понамарю, который ударил в набат. На двор царевича собрался народ. На звон набата приехали Нагие; приехал пристав, дьяк Михайло Битяговский, незадолго до того присланный из Москвы для надзора за тем, что делалось при дворе царевича. Увидали царицу, рыдающую над умирающим сыном. Произошел дикий взрыв народного гнева; погибли Битяговский, его сын, Осип Волохов и Никита Качалов, в которых признали убийц царевича. Но московские следователи, прибывшие несколько дней спустя, нашли иное: из дошедшего до нас в отрывках следственного дела видно, что все допрашиваемые, за исключением Михаила и Григория Нагих, показывали, что царевич сам закололся ножом во время припадка падучей болезни. Был ли царевич зарезан или убил себя сам в припадке болезни, которой он, видимо, страдал? Вот вопрос, перед которым мы стоим до сих пор, не будучи в состоянии точно и определенно разрешить его. Наряженное правительством следствие признало, что царевич нечаянно убил себя сам; народная молва, кажется, с самого начала признала, что он был убит. Если отнестись совершенно беспристрастно к следственному делу, то нельзя не обратить внимания на поразительное согласие всех в описании припадка падучей, яко бы унесшего Дмитрия; удары, наносимые себе самому по горлу, корчи и судороги,—все так типично для этой болезни. Читая следственное дело, нельзя не задуматься, нельзя с легким сердцем признать его лживым, и у читателя неотступно в голове остается лишь один вопрос: как допускали ребенка, больного падучей, играть ножом? Однако, смерть семилетнего ребенка царского рода, неожиданная и внезапная, не могла не поразить умов; она должна была

при тогдашнем легковерии, неосведомленности и при частых насильственных смертях в царской семье, показаться неестественной. Обстановки, в которой случилась смерть царевича, было достаточно, чтобы пошли всякие слухи, — и что он убит, а потом, и что его спасли от смерти. Во всяком случае мысль о том, что убийцей Дмитрия мог быть боярин Годунов, появилась не сразу, и разделялась далеко не всеми, и до самозванца было много людей, говоривших, что «Борис неповинен в заклании царского младенца»[10]). С другой стороны, не менее ярок и подробен рассказ об убийстве царевича: Осип Волохов подошел к нему и спросил его, взяв за руку: — «Царевич! что у тебя, новое ожерелье?». Когда ребенок поднял голову, он ударил его ножом. Качалов с младшим Битяговским докончили царевича, избив защищавшую его кормилицу.

Но если он был убит, то кому нужна была его смерть?

В обычаях московского царствующего дома было устранять и даже преследовать боковые линии, в которых государи боялись найти соперника. Иван III и его сын Василий сгноили в темнице князя Андрея Васильевича Углицкого со всем его семейством; его сын, князь Иван, всю свою страдальческую жизнь провел в оковах. Иван IV истребил все мужское поколение семьи своего двоюродного брата — князя Владимира Андреевича Старицкого. Когда воцарился кроткий и добрый Федор Иванович, те, кто стал править его именем, сочли вполне естественным удалить из Москвы младшего царевича, Дмитрия Ивановича. Со всей своей родней, происков которой боялись, он был отправлен в тот город, который был по завещанию отца назначен ему в удел; вот почему мы видим его в Угличе. Слухи, доходившие оттуда в Москву, не рисовали маленького царевича в симпатичном для Москвы свете. Больной, озлобленный, он иногда будто бы напоминал отца, и знавшим его внушал опасение в том, что, выросши, может воскресить времена Грозного царя. Рассказывали, что он «находил удовольствие в том, чтобы смотреть, как убивают овец и вообще домашний скот, видеть перерезанное горло, когда течет из него кровь, и бить палкою гусей и кур до тех пор, пока они не издохнут»[11]). Говорили, что он рубит и колет снежных болванов, называя их именами бояр и приговаривая: «Так им будет в мое царствование». Самого большого болвана он называл Годуновым[12]). Один из самых осторожных писателей, составивших сказания о Смутном времени, — троицкий келарь Авраамий Палицын, — писавший тогда, когда Дмитрий был уже давно причислен к лику святых, говорит, что Дмитрий, «возрастая, слышал о царстве и величии брата и был смущаем близкими, внушавшими ему сомнения,

почему он не живет вместе с братом. Печалясь об этом, он часто в детских насмешках говорил нелепые вещи о приближенных брата и более всего о Борисе. Враги и льстецы, замышляя великие беды и преувеличивая в десять раз, доводили об этом до вельмож и в особенности до Бориса»[13]). Эти слова лучше всего показывают, как могла в Москве созреть мысль об устранении маленького Дмитрия. Боковые линии всегда были предметом подозрения; от маленького царевича не ждали в будущем хорошего и от него могли отделаться убийством, которое назначенные из Москвы следователи превратили в самоубийство. Но, конечно, если царевич был действительно убит, то едва ли умный и тонкий Б. Ф. Годунов был в нем прямо замешан из личных честолюбивых замыслов: об окончательной бездетности царя и царицы не было еще речи. Несколько раз перенесенные неудачные роды еще не вполне лишили царицу Ирину надежд на потомство, и судьба, казалось, улыбнулась царской чете, послав ей, как раз после убийства Дмитрия, в 1592 году, дочь, царевну Феодосию Федоровну, прожившую, увы, едва 2 года. Не честолюбивые замыслы получить со временем царский престол, а привычное отношение к боковым линиям царствующего рода и своеобразное, но с точки зрения современного нам права ложное понимание интересов государства и царствующей семьи, могли заставить власть имущих в Москве устранить с пути царя Федора и его семейства, возможного врага, -угличского царевича. При слабости главы царского рода и длительном малолетстве чаемых царских детей, семья Федора Ивановича долгие годы нуждалась бы в надежной опеке царского шурина, а злейшим врагом и царской семьи, и Годунова легко можно сделаться царевич Дмитрий. Если предположить, что царевич был убит по внушению из Москвы, то может статься, что действительный глава государства, ковший боярин и слуга Борис Федорович Годунов, не был чужд ни этой мысли, ни приведения ее в исполнение.

Царевича больше нет; но внезапная смерть ребенка, происшедшая при таинственных обстоятельствах, не могла не поразить умы людей того времени, невежественных, неосведомленных и потому особенно падких на слухи; молва о том, что царевич не умер, а жив, могла, да и должна была пойти довольно рано, вероятно, одновременно со слухами о его насильственной смерти. Глухую молву можно было использовать, когда в этом оказалась бы нужда для одного из боярских кругов, которые занимались политикой и вели борьбу под сенью престола русских государей. Для того, чтобы создать «Димитрия воскресшувшее имя», не надо было особой изобретательности. Еще задолго до описы-

ваемых событий в Московском государстве уже носился в течение многих лет слух о неведомом царевиче, непризнанном, отверженном, но имевшем бо́льшие права на русский престол, чем сам грозный царь Иван: народная молва более чем за полвека до убийства Дмитрия создала легенду о князе Юрии, старшем сыне великого князя Василия Ивановича от первой его жены, Соломонии Юрьевны Сабуровой. Он будто бы рожден был ею уже в монастыре, где она была пострижена после развода с мужем за свое неплодие. Но отец, уже успевший вступить в новый брак с Еленой Васильевной Глинской, не признал ребенка, и московский престол перешел его сыну от второго брака Ивану Васильевичу, будущему Грозному. Созданного народной молвой князя Юрия очень боялся царь Иван, но Юрий, первообраз будущих самозванцев, никогда не воплотился в каком-нибудь определенном лице. Когда понадобилось воскресить погибшего царевича Дмитрия Угличского, заинтересованные в этом люди воскресили его не только в молве и слухах, но, ослепленные политической борьбой, сделали дерзкую попытку воплотить его в названном царевиче, пришедшем в 1605 году добывать прародительский престол, оспаривая его у похитителя и убийцы—царя Бориса Федоровича.

А между тем Борис не был похитителем престола. В 1595 г. умерла царевна Феодосия; надежда на продолжение царского рода исчезла; слабый и болезненный царь медленно угасал. 6 января 1598 года скончался последний потомок Калиты на московском престоле; кончину царя-подвижника описывали, как кончину святого. Смерть царя Федора поставила Московское царство перед вопросом, который еще никогда не приходилось решать русским людям. Надо было заместить опустевший царский престол. Смерть последнего царя Рюриковича и необходимость избрать нового царя были вторым случайным событием, ускорившим и надвинувшим смуту.

Что царя надо было выбрать, в этом ни для кого не было сомнения, ибо никакого другого образа правления тогдашние русские люди не знали и не понимали. Кто же мог стать царем? По тогдашним взглядам, принадлежность к роду Рюрика не давала его многочисленным потомкам, бывшим удельным князьям, никаких преимуществ для избрания в цари; самые могущественные и популярные из Рюриковичей Шуйские — были разгромлены в 1587 году; их наличные представители с боярином князем Василием Ивановичем во главе не имели прежнего влияния своих отцов и дедов, и об них не поднималось и речи на державном земском соборе, собравшемся в Москве в феврале 1598 года. Гораздо больше значения в умах тогдашних

русских людей имело родство с ближайшими царями: этим могли похвалиться только две уже известные нам семьи— Годуновы и Романовы - Захарьины, первые — в лице Бориса Федоровича, вторые—в лице умного, талантливого молодого боярина Федора Никитича, одного из наиболее образованных русских людей и первого щеголя того времени. Между этими двумя лицами и шла борьба, о которой до нас дошли, к сожалению, только слухи, хотя упорные и, надо думать, достоверные.

На стороне Годунова было, однако, большое преимущество: блестящее управление государством при царе Федоре. В его пользу и был решен вопрос на земском соборе, на котором присутствовали от 450 до 500 представителей бояр, духовенства, столичных чинов, московских посадских людей и провинциального дворянства. Соборное избрание сделало боярина Б. Ф. Годунова всенародно признанным государем, царем и великим князем всея Руси, и возвысило его до пределов человеческих мечтаний. Но избранный всенародно, царь Борис не был признан той близкой к правлению средой, которая раньше была и ему ближе всего, т.-е. боярством. Бояре не захотели примириться с мыслью, что один из них, их бывший собрат, вдруг стал выше их всех. Став царем и достигнув всего, Борис сделался так одинок, как он не был еще никогда ранее. Чтобы править, он мог опираться только на незнатных чиновников-дьяков да на свою личную родню. Влиятельные люди боярского класса,—князья и не князья,—с той минуты, как один из них стал их общим главой, сделались его врагами. Ссорясь и расходясь между собой в целях, стремлениях и интересах, они объединились в своей вражде к Борису; Шуйские подали руку Романовым, и начался беспощадный и упорный поход против нового царя, который наложил свою печать на все царствование Бориса, укоротил его дни и погубил дом Годуновых.

Мы уже видели выше, как разумно и государственно мудро было управление боярина, а потом царя Бориса Федоровича, одного из лучших и умнейших людей, каких знает наша история. «Царь Борис благообразием цвел и внешним видом своим множество людей превзошел, муж чудный и красноречивый, благоверный и нищелюбивый, о державе своей многое попечение имел и много дивных дел довершил». Так говорит о нем позднейший повествователь о смуте, друг и родственник Романовых, писавший тогда, когда Борис был всенародно признан убийцей царевича Дмитрия[15а]). Борис старался, чтобы «никто большой, ни сильный никакого человека, ни худого сироты не изобидел», и хотя это слова наказа, данного московскому послу,

ехавшему в Польшу, все же в них много правды [14]). Как царь, он лишь продолжал свою прежнюю деятельность на славу и устроение Московского государства, и не было лучшего времени на Руси, как первые три года царствования нового государя.

Но с именем Бориса связана память об опалах и казнях бояр. Меньшие количеством, они силой своей напоминали времена Ивана Грозного. Как примирить мысль о Борисе, лучшем, может быть, из царей, с Борисом, жесточайшим тираном, подвергавшим ссылкам и казням представителей лучших фамилий того времени? Ответ может быть очень простым: глухой и беспощадной враждой боярства Борис был прижат к стене. Зная и чувствуя на каждом шагу ненависть бояр, Борис был, может быть, против своей воли, вовлечен в борьбу с ними не на живот, а на смерть. Хотя он был и выше современников по своим личным качествам, он все же был сыном своего времени и действовал средствами, которые тогда были привычными и казались дозволенными. Его достойным противником был боярин Федор Никитич Романов, надо думать,—душа борьбы с Борисом. Есть полное вероятие думать, что если не в голове Федора Никитича, то среди его близких, на романовском дворе, было измышлено последнее отчаянное средство свалить ненавистного царя из бояр, и было воскрешено имя погибшего царевича Дмитрия. Старинный рассказ о спасенном и тайно воспитанном царевиче вынули из-под спуда и обратили против царя Бориса. Не оставался в долгу перед боярами и царь Борис: как ранее при Иване Грозном, так и теперь все дома бояр были опутаны доносами. Друг за другом следили; при царском дворе поощряли каждое сообщение, которое содержало бы обвинение против боярина; за доносы награждали и жаловали. Требовалось постоянное открытое подтверждение верности царю и его семье; была введена даже особая молитва о здравии Бориса Федоровича, которую приказано было читать в каждом доме, когда садились за стол. Немало было отправлено в ссылку членов боярского круга; но самая тяжелая судьба пришлась на долю пяти братьев Романовых. В 1601 году дворецкий боярина Александра Никитича Романова донес на него, что он держит у себя отравное зелье, припасенное для государя. Все Романовы были немедленно схвачены, и по приговору боярской думы присуждены к суровым наказаниям. Старший из братьев, боярин Федор, пострижен был под именем Филарета и сослан в Антониев-Сийский монастырь; пострижена была и его жена, а дети — дочь и пятилетний сын, будущий царь Михаил Федорович — высланы в одну из немногих, оставленных им вотчин. Остальные братья

были сосланы: Александр в Усолье-Луду к Белому морю, Михаил—в Пермь, в Ныробскую волость на северном Урале, Иван—в Пелым на Нижней Оби, младший Василий—в Яренск. Отправлены были в ссылку и все их сестры с мужьями и многие их родственники. Из братьев вернулись в Москву только Федор и Иван, оставшийся на всю жизнь больным и безногим; остальные трое погибли от лишений и тяжести заключения.

Таковы были последствия смерти царя Федора. Старый царский дом угас; воцарился боярин; другие бояре ополчились на него, и, чтобы свалить его, выдвинули имя убитого царевича. Убийство царевича Дмитрия, если только оно вправду было совершено, оказалось величайшей неосторожностью, последствия которой приняли самый неожиданный оборот: возможный участник убийства, Борис был сражен углицким делом и пал от удара, которого он, воцаряясь, мог ожидать всего менее.

Однако, как ни тяжек был удар, поднятый боярами на Бориса, он еще не выводил борьбы за пределы высших правящих кругов; в первое время в борьбу не был вовлечен народ. Для того, чтобы поднять народ на Бориса именем воскресшего царевича, нужны были благоприятные обстоятельства, которые нарушали бы возраставшие при Федоре и Борисе спокойствие и благосостояние страны. Таким обстоятельством был тяжелый голод, поразивший Русь в 1601, 1602 и 1603 годах: это третье событие, которое мы можем считать исходным в истории Смутного времени. Предоставим слово современнику. В 1601 году «омрачил Господь небо облаками и столько дождя пролилось, что все люди в ужас впали, и остановилось всякое земное дело, и все посеянное погибло от безмерного количества пролившейся воды. Семь недель не осушалась земля, а перед жатвой сильный мороз побил все труды человеческие и все плоды земные в полях, садах и дубравах, и земля была поедена, как от огня. Когда этот год праведного Божьего наказания миновал, мы не прекратили своей злобы и не обратились к покаянию. И оттого на второй год бедствие было еще хуже, на третий также»[15]). Правительство Бориса старалось помочь беде: сначала в Москве стали раздавать деньги, на что, как говорили, шли состояния, конфискованные у опальных и сосланных бояр. Когда народ стал толпами наводнять Москву, раздачу прекратили, но скопление народа вызвало еще большее бедствие: к голоду прибавился мор. Лишь постепенно перешли к более правильным способам борьбы с бедствием: были устроены общественные работы в Москве, памятником которых осталась колокольня Ивана Великого; несмотря на трудность перевозки, были подвезены запасы из-

под Курска, где все время был большой урожай, были приняты меры против скупщиков хлеба. Тем не менее результаты голода были ужасны: падал скот и лошади, уцелевших лошадей ели люди; за недостатком коней остановилась почти ямская гоньба. Некоторые современники рассказывают о сотнях тысяч жертв погибших от голода, о том, что ели человеческое мясо и нечистоты. Возможно, что во всем этом есть сильная доля преувеличения; ведь мы знаем, как в наше время слухи раздувают действительность. Но наличность громадного народного бедствия отрицать нельзя: оно было действительно велико и сказалось определенными и тяжелыми последствиями.

Как всегда народное бедствие развило страсть к корысти и наживе, по выражению святых отец, «многие тогда уклонились ко второму идолослужению, тратили серебро и золото на закупку хлебных запасов и брали прибытка в десять раз и более». «Просящим говорили: у нас ничего нет, а позднее, во время пленения от иностранцев, расхищалось бесчисленное количество всякого хлеба и житницы, давно за многие годы накопленные»[16]). Голод, весьма естественно, вызвал нарушение и ослабление привычных общественных отношений. Голодные холопы уходили от своих господ, крестьяне оставляли свои жилища, иных холопов отпускали сами их владельцы, не будучи в состоянии их прокормить. Эти люди уходили туда, где издавна собирались искавшие земли и свободы: на южную Украйну, под Курск, Путивль, Чернигов, где, кстати сказать, и в эти тяжелые годы были богатые урожаи. Недовольные, раздраженные, они увеличивали собою горючие материалы, всегда бывшие там в изобилии. Политика царя Бориса, преследовавшего вольницу на юге, повлекла теперь к очень печальным для него и для государства последствиям. Он не мог справиться со злом, с которым боролся, но, не осилив голода внутри страны, он этим самым усиливал бродячую вольницу, в каждую минуту готовую броситься на государство. «И они пошли к самозванцу отчасти и неволей, не имея пристанища нигде»[17]). И это было последнее явление, которое надо отметить в числе ближайших поводов к смуте. Те, кто не уходил на юг, пытались, оставаясь на месте, добыть себе хлеб, отнимая его у богатых, у скупщиков, у тех, словом, у кого он был и у кого думали, что он есть. Шайки людей, промышлявших разбоем, появились под самой Москвой под предводительством атамана Хлопка Косолапа. Отряд, посланный против них, справился с ними с трудом; атаман попался в плен, а остатки его шаек направились туда же, куда шли и другие шайки, т.-е. на юг, на Украйну и пограничную полосу, средоточие

всех недовольных, считавших себя обездоленными при существующем государственном порядке.

Так случилось, что государство, только что начавшее было при царе Федоре и в первые три года правления царя Бориса оправляться от войн и хозяйственного упадка прежнего времени, вновь было поколеблено тяжелым бедствием голода, мора и разорения. Это происходило в то самое время, когда безумно дерзкая попытка бояр свалить царя Бориса посредством самозванца была близка к осуществлению. Во время голода в Московском государстве стали ходить первые слухи о царевиче Дмитрие. Политическая борьба, давно шедшая между царем и боярами, готова была вылиться из прежнего узкого русла. Раздраженное, убежавшее из Московского государства и революционно настроенное полубродячее население южных границ было готовым материалом для войска самозванца. Но те, кто затеяли все это дело, не думали, что удар может бить далее цели, что движение против царя Бориса будет только первым в ряду многих других, и что все они принесут гибель старому боярству и едва не погубят всей русской земли.

ГЛАВА III.

Первые перевороты.

В 1603 году в Брагине, волынской или точнее полесской вотчине *) князя Адама Вишневецкого, лежал больным молодой выходец из Москвы, затерявшийся в многочисленной дворне знатного полупольского, полурусского вельможи. Искренно чувствуя себя на пороге смерти или искусно представляясь тяжело больным, он поведал священнику на исповеди о своем царственном происхождении и в случае своей смерти просил погрести его, как царского сына, но кто он, сказать отказался. Священник донес об этом князю Вишневецкому. Тот, вероятно, ошеломленный вестью о таинственном незнакомце, о существовании которого при своем дворе, он, надо думать, не подозревал, пришел к нему, и, не получая ответа на прямые вопросы, предлагаемые больному, приказал обыскать его постель, где, как еще ранее незнакомец говорил священнику, должны были быть доказательства его высокого происхождения. Под подушкой больного оказался действительно свиток или письмо, в котором значилось, что умирающий неизвестный русский не кто иной, как московский царевич, князь Дмитрий Иванович Углицкий, чудесно спасенный от убийц, подосланных Годуновым. По словам нашей летописи, князь Адам, прочитав свиток, «впал в ужас и не знал, что ему делать»[18]). Удивление его, на самом деле, должно было быть очень большим, особенно когда названный царевич показал ему драгоценный крест, якобы возложенный на него при крещении восприемником его, князем Мстиславским. Во всяком случае Вишневецкий поверил рассказу, и весть о московском царевиче, чудесно спасшемся от смерти, быстро распространилась между знатью южно-русской и польской. Молодого царевича развозили по дворцам и замкам, от одного вельможи к другому. Особенное покровительство оказал ему пан Юрий Мнишек, воевода Сандомирский, честолюбивый и ловкий интриган, не пользовавшийся хорошей славой у людей своего круга и всячески искавший поправить и расстроенные дела и пошатнувшееся доброе имя. В замке Мнишка, в Самборе **), Дмитрий познакомился с его дочерью

*) В нынешнем Речицком езде, Минской губ.
**) В Галиции, в предгориях Карпат.

Мариной, в которую горячо и беззаветно влюбился. Увлеченный новым открывшимся его глазам миром, Дмитрий, как это нередко бывало и бывает до сих пор с русскими людьми, весь предался ему; все польское казалось ему недостижимым совершенством; он усвоил польские обычаи, стал носить польское платье. Чтобы ближе подойти к тем, среди которых он вращался, и заслужить руку любимой девушки, царевич изменил вере отцов и перешел в католичество, что в свою очередь заставило обратить на него внимание представителя римского престола в Польше—папского нунция *) Рангони. В начале 1604 года Дмитрий при поддержке Мнишка приехал в Краков и вступил в личные сношения с Рангони, а через него и с королем Сигизмундом III.

Откуда явился в Литве московский царевич? Если бы тот, кто присвоил себе имя погибшего Дмитрия Углицкого, был действительно им, то, заявив о своих правах на престол предков, а потом и действительно сделавшись царем на Москве, он должен был бы рассказать, как удалось ему спастись от смерти и какова была его судьба от 1591 до 1603 года, когда он объявился в Польше. Откровенное изложение всех событий, случившихся с ним в эти 12 лет, было бы лучшим средством убедить всех в его подлинном происхождении и в его правах на московский престол. На самом деле во всех объявлениях, прокламациях и манифестах, с которыми названный Дмитрий Иванович обращался к своему народу как до своего воцарения, так и после, он молчит об этой самой интересной поре своей жизни. Вместо ярких и драматических подробностей, которые жаждет узнать каждый, кто сколько-нибудь сознательно относится к переживаемым событиям, названный царь ограничивается одной фразой, неизменно повторяемой с небольшими лишь изменениями в некоторых словах: «Божиим произволением, Его крепкая десница укрыла нас от нашего изменника Бориса Годунова, хотевшего нас злой смерти предать. Милосердный Бог злокозненного его помысла не восхотел исполнить и меня, Господаря вашего прирожденного, Бог невидимою рукою укрыл и много раз в судьбах своих сохранил»[19]). Рассказав подробно всю свою жизнь, он окончательно убедил бы и современников и позднейшие поколения в своей правоте; если он этого не сделал, значит он этого не мог, а если он не мог так поступить, то это лучше всего показывает, что он не был настоящим царевичем.

О том, кто был первый Лжедмитрий, спорили много, его считали побочным сыном царя Ивана, его сына Ивана

*) Представители папы при дворе европейских государей носят название «нунциев».

Ивановича, даже сыном польского короля Стефана Батория. В настоящее время вполне доказано, что он был русский, родом из Московского государства. Современники, начиная с официальных сообщений царя Бориса и кончая многочисленными писателями о смуте, почти все совершенно согласно утверждают, что тот, кто царствовал в Москве под именем Дмитрия Ивановича, был не кто иной, как галицкий сын боярский Юрий Отрепьев. 14 лет он ушел в монастырь, постригся под именем Григория, жил в Москве в Чудовом монастыре, а потом бежал в Литву, и там провозгласил себя царевичем Дмитрием Ивановичем. В Москве Отрепьев близок был ко двору Романовых, где, как на других боярских дворах, охотно принимали бродячих иноков и пользовались ими для всяких тайных дел и поручений. И сам Лжедмитрий считался с существованием Григория Отрепьева: он имел при себе лицо, названное этим именем, но предусмотрительно оставил его в Путивле, побоявшись привести в Москву человека, который мог одинаково повредить ему, все равно—был ли этот человек вправду Отрепьевым или же простым подставным лицом. Исключение из согласного отзыва современников, многое лучше знавших, нежели мы, составляют лишь некоторые писатели-иностранцы, более других питавшиеся слухами и ловившие их. Думается, что предположение, что названный царь Дмитрий был действительно боярским сыном Юшкой, в монашестве, Гришкой, Отрепьевым будет самым правильным. В этом были согласны и сраженный им царь Борис, и все недруги последнего—бояре, когда Лжедмитрий в свою очередь был свергнут, перестав быть необходимым орудием борьбы против уже погибших Годуновых.

О пребывании Отрепьева в Московском Чудовом монастыре и о бегстве его в Литву сохранились обстоятельные известия. Еще в бытность его в Чудовом монастыре о нем ходили дурные слухи; митрополит Ростовский предостерегал патриарха, говоря, что молодой инок «диаволу сосуд будет». Отрепьев нередко расспрашивал монахов об убиении царевича Дмитрия «проведывая накрепко» об этом деле и, как бы в шутку, хвастаясь, что он будет царем на Москве. О таких речах донесли царю Борису, который приказал отослать Григория в Соловки под крепкое начало. Григорий, однако, кем-то предупрежденный, бежал из Москвы, а несколько позднее, в 1601 или 1602 году (наши источники не согласны между собою в этом), пробрался на юг, в Украйну, убежище всякого гонимого люда, а оттуда—за рубеж в Литву, точнее в Малороссию, входившую в то время в состав Польского королевства. Путь к границе он совершил с такими же ворами-чернецами Варлаамом и Мисаилом Повадиным, вхожими в Москве в разные боярские

дома и, между прочим, к Шуйским. Они шли на Брянск, Новгород-Северский и Чернигов, за которым в то время проходила граница Московского государства, находя приют в местных монастырях, охотно принимавших бродячих монахов и послушников. По словам Варлаама, рассказ которого об этом путешествии до нас сохранился, Григорий говорил, что он хочет поступить в число братии Киево-Печерского монастыря, «потом итти в Иерусалим ко гробу Господню». Летописец, со своей стороны, рассказавший нам о бегстве Григория, добавляет, что, покидая Спасо-Преображенский монастырь в Новгороде-Северском, Отрепьев оставил настоятелю «памятку» такого содержания: «Я царевич Дмитрий, сын царя Ивана, а как буду на престоле отца своего в Москве, и я тебя пожалую за то, что ты меня покоил у себя в обители». С прибытием Григория Отрепьева в Киев, известия о нем становятся более сбивчивыми; пробыв очень недолго в Печерском монастыре, он, кажется, еще со своими спутниками пробрался в Острог, где обитал южно-русский вельможа и деятель князь Константин Константинович Острожский, воевода киевский. Здесь, по-видимому, Отрепьев скинул монашескую рясу и отправился в местечко Гощу. Там, в школе, учрежденной владельцами, процветали науки и находили себе одинаково благосклонный прием православные, протестанты, и даже еще более крайние религиозные мнения. В Гоще Григорий окончательно «учинился мирянином» и стал учиться по-латыни и по-польски; здесь он прожил зиму 1601/2 или 1602/3 года, а после светлого Христова Воскресения пропал без вести. По всей вероятности, он побывал в Запорожьи. Следы его вновь обнаруживаются в 1603 г. в Брагине у князя Адама Вишневецкого[20]).

Такова летопись похождений будущего царя Дмитрия Ивановича до появления его в Кракове в начале 1604 г. Порванная нить связывается довольно легко. Чернец Григорий, безумно смелый, как будто уже и в Москве и по пути в Украйну, не сомневающийся в своем высоком происхождении и призвании, слишком похож на неизвестного москорского выходца, открывшегося Вишневецкому и покровительствуемого Мнишком, чтобы можно было на минуту усомниться в том, что это — одно и то же лицо. Он пришел в Польшу, уже приняв на себя тайно имя царевича Дмитрия, пришел уверенный в себе и в этом отношении не изменился до последнего дня своей жизни. Кто и когда вселил в него такую непоколебимую веру? Принадлежал ли он к числу людей, которые так умеют усвоить себе ложную мысль, что в конце-концов искренно забывают о ее ложности, или же маленькому галицкому сыну боярскому Юше Отрепьеву, «зело грамоте горздому», по словам

летописца, пытливому мальчику, в отрочестве ушедшему в монастырь искать чего-то нового, непохожего на жизнь простого служилого человека, вековечного царского крепостного воина, кто-то внушил крепко засевшую в нем мысль, что он вовсе не Юша Отрепьев, а действительно спасенный от смерти царский сын? Вот то, что всегда останется тайной. Однако, если вдуматься в характер мальчика, как он рисуется нам из немногих, дошедших до нас известий, он мог быть подходящим человеком для того, чтобы еще с ранних лет стать «избранным сосудом» для безумной боярской затеи, мысль о которой могла впервые появиться в половине 90-х годов, когда стала ясно обрисовываться возможность воцарения Бориса. По отзывам современников, названный царь Дмитрий, подлинные портреты которого до нас дошли, мог быть несколько старше, чем тот, именем которого он овладел. Это был молодой человек лет 25, среднего или ниже среднего роста, но хорошего сложения. Его круглое лицо, обрамленное рыжеватыми волосами с бородавкой около носа, не представляется очень симпатичным и не внушает мысли об аристократическом происхождении; но высокий лоб говорит об уме, а печальное или скорее сумрачное выражение лица с оттенком упорства свидетельствует о какой-то тяжелой и крепкой думе, глубоко запавшей в душу этого загадочного человека.

Получить в свое распоряжение настоящего или даже ложного царевича Дмитрия было обстоятельством, весьма важным и ценным для нунция Рангони и короля Сигизмунда и чреватым последствиями для Московского царства. В Риме всегда лелеяли мысль о присоединении русских к католической вере. Московский царевич принял католичество; если его поддержать и помочь ему добыть отцовский престол, то он обратит в католичество и свою страну. Расчет безошибочен, и поэтому с той минуты, как названный Дмитрий стал католиком, корыстная, но сильная поддержка представителя римского папы была ему обеспечена. Власть короля Сигизмунда была очень ограниченной в Польше. Общественное мнение, точнее, мнение крупных панов и членов сейма *), было настроено против войны, против даже каких бы то ни было осложнений с Москвой. После войны и широких замыслов короля Стефана Батория в Польше дорожили миром не меньше, чем в Москве. Еще на сейме 1605 года, когда Дмитрий был уже близок к своей цели, послы, т.-е. депутаты сейма и сенаторы, единодушно высказывались против всякого вмешательства в московские дела. Когда «царевич» был еще в Польше, разные лица

*) Так называлось законодательное собрание соединенного Польско-литовского государства.

писали королю, советуя «объявившегося наследника скрыть где-нибудь в безопасном и спокойном месте»[21]). Старый гетман Замойский, не раз побеждавший в бою московские рати, смеясь спрашивал, что за комедию затевает король? Но для Сигизмунда был прямой расчет помочь Дмитрию. В случае удачи Дмитрий уплатит уступкой пограничных земель не государству, которое отказало ему в помощи, а королю, протянувшему ему руку. Это увеличит могущество и власть последнего и доставит ему желанную независимость от сейма, считавшего свою власть выше королевской и скупо отпускавшего денежные средства в распоряжение короля. И вот, несмотря на недостаток сочувствия к делу самозванца в польском обществе, Сигизмунд стал энергичным, хотя, конечно, не менее корыстным, чем Рангони, помощником Дмитрия, и позволил ему частным образом вербовать войско, выговорив себе за то уступку Смоленска и Северской земли *). Разрешение Сигизмунда развязывало руки искателям приключений и беспринципным людям вроде Мнишка, которые готовы были сделать из названного Дмитрия средство для личного обогащения и благополучия. Мнишек и подобные ему люди принялись за создание армии, с которой московский царевич должен был восстановить свои попранные права. За это Дмитрий должен был, кроме большой денежной суммы, отдать Мнишку в потомственное владение те части Смоленской и Северской земель, которые у него останутся после исполнения условий с Сигизмундом, а своей будущей жене Марине - Новгород и Псков в личное и независимое от него, Дмитрия, владение. Содействие в обращении русских в католичество, уплата крупных денежных сумм, уступка Пскова, Новгорода, Смоленска, Стародуба, Новгорода-Северского и Чернигова — вот во что должно было обойтись Московскому государству непременное желание бояр избавиться от ненавистного им царя Бориса Федоровича.

Вся первая половина 1604 года ушла на приготовления к походу. Армия формировалась, главным образом, в Самборе, вотчине Мнишка, и под знамена названного царевича стеклось до тысячи человек польской шляхты, или мелких дворян, которых навербовал Мнишек. Это была технически лучшая часть армии самозванца; она находилась под начальством избранных из ее среды гетмана и полковников; их цель была обогатиться, набрав побольше добычи в московской земле. Уже на походе к самозванцу присоединился отряд запорожских казаков. Такова была помощь людьми, которую самозванец получил в Польше и зарубежной поль-

*) Нынешней Черниговской губ.

ской Руси. Главную часть его армии составили, однако, не подданные короля и не запорожцы, а великорусские казаки-донцы и выходцы из Московского государства. Донские казаки, беглецы из владений московских царей, постоянные враги московского правительства, охотно откликнулись на призыв, обращенный к ним названным Дмитрием, и через особое посольство, с атаманом Корелой во главе, обещали к нему присоединиться всем своим составом. Они и исполнили это, хотя главная часть казачьего войска пошла прямо с Дона к Москве; только сравнительно небольшой отряд донцов, тысячи в две, встретил Дмитрия на правом, западном берегу Днепра. Наконец, у него был еще небольшой отряд московских людей, числом несколько сот человек, что доводило численность всего его ополчения примерно до 4.000 человек.

С такими силами трудно было рассчитывать покорить большую страну и свалить сильное и крепкое правительство. Расчет самого названного царевича и тех, кто в Москве подготовил все его предприятие, был построен на другом: на воскресшем имени царевича, который идет, защищая свои права, против убийцы, беззаконно захватившего его престол. Пропаганда и агитация предшествовали приходу Дмитрия; они проложили ему дорогу, отвратили умы от Бориса, привлекли тех великорусских выходцев, которых мы видим в войске, самозванца еще до вторжения его в борисову державу, и разложили правительственные армии.

Слухи о самозванце стали доходить в пределы Московского государства рано, сейчас же вслед за провозглашением его в Польше. В 1603 г. Борис ответил на первые слухи закрытием границ, «чтобы никто из Литвы и в Литву не ходил, все укрываючи, чтоб вести не было на Москве», а сам послал «лазутчиков» проведать, кто таков на самом деле появившийся вдруг царевич. Царь пробовал официально уведомить польское правительство и короля Сигизмунда об истинном положении дела, но грамоты Бориса не находили сочувственного приема, а когда он отправил в Литву Смирного-Отрепьева, дядю Григория, обличать самозванца, то Смирному не поверили, а на его просьбы дать ему очную ставку с царевичем, «чтобы ему того вора показали», ему было отказано, и его отпустили в Москву ни с чем»[22]). И позднейшие попытки выяснить дело посредством гонцов и послов остались без успеха. Но внутри страны правительство долго молчало; только в конце 1604 или в январе 1605 г., когда Дмитрий двигался уже к Москве, царь попытался вразумить народ особыми сообщениями в Москве, через посредство патриарха и князя Василия Ивановича Шуйского, когда-то ведшего следствие в Угличе, и

при помощи окружной грамоты, разосланной от имени патриарха. Но тогда было уже поздно.

Со своей стороны принимал меры и названный Дмитрий; он нападал, и потому его положение было легче; его обличительные грамоты и прокламации, или «прелестные письма», как их тогда называли, били в самое сердце противника. Обличительная грамота, которую самозванец отправил к Борису и где он, исчисляя все его преступления, требовал, чтобы тот отдал ему его достояние, была предназначена не столько для царя, сколько для его подданных: голос законного наследника престола, требовавшего, чтобы похититель устранился с его пути, распространялся подпольными путями и властно призывал русских людей свергнуть незаконного государя-преступника. Прелестные письма и тайные листы, составляемые за рубежом, переносились через границу в мешках с хлебом. И вторгшись в московские пределы, названный Дмитрий продолжал рассылать от имени «царевича и великого князя вся Руси» грамоты: «в каждый город воеводам и дьякам, и всяким служилым людям, и всем гостям, и торговым, и черным людям, призывая их «отложиться от изменника Бориса Годунова». Кто их развозил, мы не знаем, но можно сказать, что пускались в ход все тайные средства, какими обычно во все времена пользуется подпольная пропаганда. Отравляя ядом сомнения тех, для кого они предназначались, прокламации преодолевали и пограничные заставы, и внутренние мероприятия, и самые войска, которые царь посылал против своего недруга.

В августе 1604 г. несколько выше Киева названный Дмитрий переправился через Днепр и очень скоро дошел до первого города Московского государства — Моравска*), а затем подступил и к Чернигову. Оба города сдались. Черниговцы связали воеводу и выдали его Дмитрию; сила этого имени сразу начала оказывать свое влияние. Скоро перешел на сторону самозванца путивльский воевода, князь Рубец-Мосальский. Крепко сопротивлялся только Новгород-Северский, где мужественно защищались воеводы, боярин князь Н. Р. Трубецкой и окольничий Петр Федорович Басманов. В декабре подошедшая на выручку города большая рать, под начальством первого боярина князя Ф. И. Мстиславского, была разбита самозванцем, несмотря на то, что его войско, возросшее от одержанных успехов, было все-таки гораздо меньше царских полков. Названный Дмитрий продвинулся до Севска, но неподалеку от этого города, под Добрыничами, потерпел полное поражение от нового цар-

*) Ныне местечко Моравск Черниговской губ. Остерского уезда, на р. Десне, между Черниговом и Остром.

ского войска, во главе которого был князь Дмитрий Иванович Шуйский. Самозванец почти бежал в Путивль, очень сильную по тогдашнему крепость, сделавшуюся в эту минуту его оплотом. Еще один сильный удар мог бы его добить окончательно, но царские воеводы - бояре, князь Мстиславский и князь Шуйский, тайные враги царя, не находили в себе энергии покончить с самозванцем, ими же созданным. Они медлили и точно нарочно вызывали раздражение населения южных областей жесточайшей расправой над расположенной в Севском уезде Комарицкой волостью, радостно встретившей самозванца, но быстро им оставленной после добрыницкого поражения. Частичная расправа вызвала лишь озлобление против Москвы и против царя, именем которого она была совершена. Те, кто ее затеяли и выполнили, не могли оказать лучшей услуги делу самозванца. Тем временем, казаки двинулись с Дона на Белгород, Курск и на Воронеж, Елец, дошли до Кром и засели в них. Царские войска осадили город, но осада, руководимая боярином Ф. И. Шереметевым, шла вяло, а когда в марте под Кромы подошла главная московская рать, то произошел первый явный факт боярской измены: Михаил Глебович Салтыков, один из самых темных людей Смутного времени, отвел назад отряд, уже овладевший было городскими стенами, и дал возможность верному союзнику и помощнику самозванца, атаману Кореле, ввести в город свежих людей и доставить продовольствие. Истощенное бесплодными походами и действиями, смысла которых не видело, а, главное, мучимое мыслью, что борется против законного царя и защищает беззаконного похитителя престола, царское войско таяло без поражений. «Только де будет тот прямой царевич Дмитрий, и им де против него и стоять нечего»; вот как рассуждали русские люди того времени [23]). Служилые люди просто разбегались и расходились домой, уклоняясь от участия в братоубийственной войне, день ото дня все более и более принимавшей характер войны гражданской.

В это время умер царь Борис Федорович, 13 апреля, встав из-за стола после обеда, он внезапно почувствовал себя дурно. Кровь хлынула у него изо рта, ушей и носа, и через два часа он скончался. Его внезапная смерть не могла не произвести впечатления; некоторые думали даже, что он отравился от отчаяния, видя гибель свою и своего дома. Но для такого предположения у нас нет достаточных оснований; слишком много было и без того причин, чтобы надломить здоровье царя; беспокойство, скорбные думы, борьба с неуловимым врагом, с призраком, который от каждого удара становился все сильнее, сделали свое дело, довершенное, по всей вероятности, апоплексическим ударом, сразившим царя. Кто знает, останься жив царь Борис, ин,

может быть, все-таки нашел бы в себе сил и умения одолеть самозванца, но его смерть решила участь его семьи. За его сына, нового царя Федора Борисовича, не был расположен стоять никто; 16-тилетний мальчик был заранее предназначен в жертву. Бояре, затеявшие гибель Годуновых, были близки к торжеству своему, а ошибки лиц, оставшихся у власти, лишь ускорили дело.

1-го мая 1605 г. один из лучших воевод, и притом не принадлежавший к самому высшему слою боярства, отличившийся в войне, боярин П. Ф. Басманов, был жестоко обижен, получив назначение, более низкое, чем требовало его родовое положение. «А как ту роспись (т.-е. указ о назначениях, прочли),—Петр Басманов, падши на стол, плакал с час, лежа на столе, а встав жаловался и бил челом боярам и воеводам всем: Семен Годунов выдает меня князю Андрею Телятевскому; жив не хочу быть, лучше приму смерть, чем такой позор». «Того же года, месяца мая в 7 день изменили под Кромами царевичу князю Федору Борисовичу всея Руси, забыв крестное целование, и отъехали к расстриге бояре князья Вас. Вас. и И. Вас. Голицыны и боярин П. Ф. Басманов»[24]), — говорит тот же источник, точно подчеркивая измену Басманова и ставя ее в связь с понесенной им обидою. В провозглашении Дмитрия царем под Кромами участвовал также и столь известный впоследствии Прокопий Петрович Ляпунов. Самозванец, бывший до тех пор все еще в Путивле, после того двинулся торжественным походом к Москве. Из Москвы бояре потянулись к нему навстречу в Тулу, а князь Василий Иванович Шуйский, по одному свидетельству, стал говорить под рукой, что царевич Дмитрий действительно был спасен от убийц[25]).

Оставленный всеми Федор Борисович ждал своей участи; ждать долго не пришлось. 1 июня приехали в Красное Село под Москву гонцы самозванца Гаврила Григорьевич Пушкин и Наум Плещеев с грамотой уже от «царя и великого князя Дмитрия Ивановича всея Руси» с призывом признать его и с повторением обычных обличений против Годуновых и, в частности, против «изменников наших Марьи Борисовой, жены Годуновой, да сына ее Федора», которые «о нашей земле не жалеют, да и жалеть было им нечего, потому что чужим владели, и вотчину нашу Северскую землю и иные города и уезды разорили и православных христиан не по вине побили»[26]). Федор Борисович принял было меры, чтобы не допустить всенародного чтения грамоты, но посланные небольшие отряды не дошли до Красного Села; испугавшись, они разбежались или вернулись назад. Грамота была прочтена, толпа повалила с гонцами в столицу; грамоту вновь прочли на Лобном месте. Движе-

ние все разрасталось; оно перешло в бунт, в восстание и закончилось революцией. Годуновы были свергнуты и из царского дворца переведены в бывший их собственный дворец, где должны были дожидаться решения нового царя. Дворец и дома годуновской родни подверглись грабежу и погрому. Москва пережила первый насильственный переворот и признала царя Дмитрия. Событие это имеет очень большое значение в истории смуты. Боярская затея не могла исполниться без участия народных масс; там, на фронте под Кромами, и здесь, в Москве, движение в пользу названного Дмитрия из замысла тесного правящего круга перерodилось в народное движение. Подготовленное всеми недугами прежнего времени, вызванное недавними событиями, оно прорвало вековую плотину, разломало рамки привычных устоев народной жизни. Но движение 1605 г. было только первым в ряде многих других. Волна только еще поднималась; ей суждено было затопить берега, и много времени должно было пройти, пока взбаломученное море вновь пришло в спокойное состояние.

Начавшись осенью 1604 г. почти одновременно в Чернигове и Белгороде, движение самозванца закончилось в июне 1605 г. в Москве. Им было охвачено пространство московской земли, которое можно ограничить двумя линиями: от Москвы на юго-запад через Новгород-Северский до Чернигова и от Москвы на юго-восток к Ельцу и Воронежу. Пространство это заключало всю южную окраину, давнее средоточие недовольных, и все дороги от Украйны в столицу. На Украйне сильнее всего была молва о Дмитрии; из Украйны вместе с ним она пришла в Москву. За пределами, сейчас очерченными, о Дмитрии знали меньше, но в других местах все же слухами о нем волновались: так, в Смоленске, в начале 1605 года в людях можно было «чаять шатости», посадские люди «ужаснулись и, между себя ходя, неведомо, что шептали, ожидая времени, «как придет новый царь» [27]). Только, может быть, в самых далеких областях русского востока и севера о Дмитрии знали совсем мало, и внезапные вести о гибели дома Годуновых могли показаться там неожиданностью.

После признания самозванца дела пошли еще скорее. 3 июня из Москвы в Тулу отправилась депутация с повинной; во главе ее был один из самых больших бояр — князь Ив. Мих. Воротынский. Почти в одно и то же время в Москву от самозванца поехали боярин кн. Вас. Вас. Голицын и бывший путивльский воевода, кн. Рубец-Мосальский, первый перешедший на сторону названного Дмитрия. Они должны были расправиться с Годуновыми: молодого царя Федора и царицу Марью Григорьевну убили со всей жестокостью, свойственной тому времени; тело царя Бориса

извергли из Архангельского собора и всех Годуновых похоронили в «убогом» Варсонофьевском монастыре*), где погребали странников и бездомных людей. Осталась в живых одна царевна Ксения, пощаженная для утехи самозванца. Свержен был также престарелый патриарх Иов, давнишний друг и союзник царя Бориса; его сослали в Старицу, как простого монаха.

Новый царь из Тулы двинулся к Москве; в Серпухове он узнал о гибели Годуновых. После краткой остановки в Коломенском он вступил торжественно в столицу 20 июня, приветствуемый народом, слепо поверившим в чудесное спасение царевича Дмитрия. 24 июня в патриархи был возведен рязанский епископ, грек Игнатий, который явился в Тулу приветствовать нового государя. Все казалось конченным: похитители престола понесли наказание; в Москве воцарился законный наследник царя Ивана Васильевича. Но так казалось лишь непосвященным в дело. Для тех, кто замыслил свергнуть Бориса посредством самозванца, дело было сделано только наполовину: подставное лицо исполнило свое дело; теперь наставало время отделаться и от него. Бояре имели основание быть очень недовольными новым царем: принимая в Туле депутацию Воротынского, он позвал к царской руке сначала донцов, а бояр только потом, при чем встретил их грозною речью за долгое сопротивление законному царю. В это время, когда народ радостно приветствовал государя, среди боярства уже думали о его свержении. Привести последнее в исполнение взялся боярин князь Василий Иванович Шуйский, когда-то ведший следствие в Угличе, хитрый, ловкий человек, умевший уберечь себя от опалы Бориса и перешедший на сторону самозванца только в самую последнюю минуту. Теперь он вдруг с непривычной смелостью сделал попытку совершить новый переворот. Возможно, что он учитывал, что, когда возвратятся в Москву Романовы и другие жертвы Борисовых опал, переворот этот совершится не в его пользу. Точно желая предупредить других, он вновь стал говорить то, что он объявлял по повелению Бориса, и от чего только что отрекся, когда надо было погубить Годунова: истинный Дмитрий убит Годуновым, а новый царь—самозванец. Но лица, которые по его поручению должны были разгласить его слова в Москве, не сумели исполнить своей задачи; об их деятельности узнал П. Ф. Басманов, теперь самый верный и преданный слуга царя Дмитрия. 23 июня, всего 3 дня после въезда нового царя, Шуйский был схвачен, судим чрезвычайным судом, который летописец называет собором. 25 июня должна была быть его казнь, но в послед-

*) Ныне церковь Вознесения в Варсонофьевском переулке.

нюю минуту царь его помиловал и только сослал вместе с братьями в галицкие пригороды; имения их были отобраны. Однако, прежде чем ссыльные доехали до места, им были возвращены и их добро и все их достоинства и звания. Дело затихло; бояре на время притаились. Да и трудно было что-либо им предпринимать. 18 июля приехала в Москву названная мать царя, царица-инокиня Марфа; в селе Гайнинском под Москвою она признала Дмитрия своим сыном. 30 июля он венчался на царство так же, как венчались его предшественники, и венчание было ознаменовано, как это всегда бывало, царскими милостями. Возвращенный Филарет Романов сделан был митрополитом Ростовским, его брату Ивану Никитичу «сказано боярство», так же как и Михаилу Нагому. Опальный думский дьяк Щелканов, на которого самозванец еще в Польше указывал, как на одного из своих покровителей, получил чин окольничего. Более чем когда-либо все прошлое казалось отжитым и новый порядок твердым.

Смута как будто проскользнула по поверхности. Управление государством шло своим чередом и самая жизнь в нем текла во второй половине 1605 г. очень покойно; не было слышно даже об Украйне. Единственная мера, напоминавшая о былых волнениях, заключалась в назначении воевод, т.-е. военных правителей во внутренние города страны, где раньше их не было. Молодой царь часто председательствовал в боярской думе, принимал участие в обсуждении дел, обнаруживая при этом большую находчивость и ум. Правда, близко стоявших ко двору неприятно поражало то пренебрежение, с каким он относился к старым русским обычаям: он не обращал внимания на утомительные мелочи придворного обихода, не соблюдал обычных постов. Но это было заметно сравнительно немногим. Московское население видело его разъезжающим по городу с блестящим польским конвоем, при звуке труб и лязге оружия. Он появлялся в ином окружении, чем прежние цари, но он был молод, приветлив, и у нас есть все основания думать, что его в Москве готовы были полюбить. О провинции и говорить нечего; царь был далеко, и вести о нем не так скоро доходили до таких уголков, где спокойствие еще почти не нарушалось. Вот почему не имели успеха и обличители, которые выступали против нового царя, потому ли, что знали всю ту ложь, которою окутали русскую землю, или потому, что бессознательно ее чувствовали и возмущались бессмысленными жестокостями вроде убийства Годуновых. История сохранила их имена: дворянин Петр Тургенев, Федор Калачник, дьяк Тимофей Осипов смертью заплатили за свои смелые слова. Т. Осипов в лицо назвал царя Гришкой Отрепьевым; Тургенев, везомый на казнь, кричал народу:

«Вы приняли образ антихристов и поклонились посланцу сатаны; тогда поймете это, когда сами погибнете»[28]). Передают, что отрепьевская родня, мать Григория, Варвара, его брат и дядя, ездивший в Литву, также обличали самозванца, но речи этих маленьких людей, конечно, не могли иметь значения; однако, мать не тронули, а в Сибирь сослали только дядю.

В поведении нового царя можно заметить две черты: он до дерзости уверен в себе и в то же время необыкновенно легкомыслен. Более чем когда-либо остается впечатление, что он искренно верит в свое царственное происхождение. Если это так, то нечего поражаться его легкомыслием: оно — только прямое следствие убеждения в своей правоте. Более чем легкомысленно было щадить бояр, а он простил Шуйского. Легкомыслием было пренебрегать старыми обычаями и понижать царский сан участием в кулачных боях или едением телятины, считавшейся нечистой пищей. Но не надо забывать, что Лжедмитрий, вкусивший западных польских нравов, искренно и беззаветно увлекся ими. Только человек, вполне в себе уверенный, мог допустить столь жестокую расправу над семьей своего предполагаемого врага; только такой человек мог решиться простить Шуйского, только «истинный» царевич мог позволить себе так свободно и свысока обращаться с боярами, как это делал новый царь в думе. И, наконец, только человек, думавший, что он по праву занял царский престол, мог так энергично отстаивать русские интересы в переговорах с послами Сигизмунда. Он отказался от отдачи Смоленска и Северской земли, предлагая взамен того деньгами заплатить за оказанную ему помощь. Он шел навстречу Польше только в одном—в готовности заключить с нею военный союз, потому что мечтал о крестовом походе на турок. Настаивал он и на том, чтобы за ним признали титул «императора» и «непобедимого кесаря»: так он называл себя с первых дней своего царствования. Наконец, уверенность в своей силе заставила Дмитрия отказаться от обязательств, принятых на себя по отношению к католическому духовенству; он скрыл в Москве свой переход в римскую веру и в переговорах с польскими послами в последние дни своего правления отказался допустить в своей стране свободу католической проповеди.

Слишком большая самоуверенность и слишком большое легкомыслие как раз и погубили его. Попрежнему влюбленный в Марину Мнишек, Дмитрий с нетерпением ждал в Москве будущую царицу. Наконец, она приехала в сопровождении отца и целой свиты польских искателей приключений. Те, кто побоялись в 1604 году пуститься в опасное предприятие подозрительного проходимца, в 1606 г. с большой охотой ехали поправлять дела при дворе царя и ве-

ликого князя московского. Нашествие Мнишка и его спутников началось с 24 апреля 1606 г.; на Москву они смотрели как на завоеванный город. Начались нападения на жителей; русских били и грабили; управы на пришельцев не было. Царь, за несколько месяцев до того распустивший пришедшее с ним наемное польское войско из боязни слишком раздражить Москву, теперь был весь занят своей свадьбой, торжественно отпразднованной 8 мая. Первая половина мая 1606 года была временем грабежей и погромов, чинимых поляками в Москве; население было задето и раздражено; только этого и нужно было боярам, которые терпеливо ждали, когда придет их час. Неудача Шуйского в июне 1605 г. не остановила их; слишком велика была ставка; слишком давно поставлен заклад. Для боярского царства надо было устранить выскочку, оказавшегося неожиданно слишком значительной величиной. Какие-то происки велись всю зиму; посол Лжедмитрия Афанасий Власьев, отправленный, главным образом, для переговоров о приезде Марины, имел негласное поручение от Шуйских и Голицыных передать большим польским панам, что московские бояре жалуются на короля, который навязал им человека низкого, легкомысленного, недостойного царского престола; Власьев должен был намекнуть и на возможность избрания в цари королевича Владислава Сигизмундовича [29]). Так впервые промелькнула мысль об этом кандидате на московский престол: в боярском царстве должен быть царь, воспитанный в обычаях польской монархии, ограниченной влиянием панов и сейма.

В мае 1606 г. московские бояре решили, что время расправы с самозванцем настало. Брожение в Москве, вызванное своеволием приехавших польских «рыцарей», началось с 12 мая. Утром 17 мая небольшой отряд из 200 человек бояр и дворян ворвался в Кремль; во главе ехал князь В. И. Шуйский с крестом и мечом в руках. Распространился слух, что паны режут бояр. Московская толпа, уже подготовленная к восстанию, поднялась и пошла грабить дома, где стояли постоем иностранцы. Произошел второй московский погром, повидимому, гораздо более сильный, чем в июне 1605 г. Пока в городе шел погром, в Кремле покончили с тем, кого целый почти год считали царем. Нападение было внезапным, легкомысленный царь его не ожидал. Боярин П. Ф. Басманов, пытавшийся заступиться за Дмитрия, был убит первым: один из заговорщиков, окольничий Михаил Игнатьевич Татищев, спасенный Басмановым от ссылки, обругав его, ударил ножом на смерть. Кровь Басманова опьянила толпу. Царь сначала было скрылся от толпы, но, оступившись на переходах, упал с высоты 15 сажен на Житный двор в нижней части Кремля.

к Москве реке. Стрельцы, стоявшие у стен на карауле, в первую минуту принялись его защищать, но угроза толпы итти на стрелецкие слободы и известие, что царица-инокиня Марфа отреклась от того, кого признала ранее сыном, решили дело. Названный Дмитрий со сломанной ногой и разбитой грудью был пристрелен дворянином Григорием Валуевым. Три дня трупы Дмитрия и Басманова лежали на Красной площади; потом их погребли, и Дмитрий нашел было себе упокоение в убогом доме за Серпуховскими воротами, таком же месте погребения неопознанных трупов и неизвестных странников, как и Варсонофьевский монастырь, где его повелением был за год до того положен царь Борис. Но в Москве пошли слухи, что над могилой расстриги, как стали теперь называть бывшего царя, совершаются чудеса от его волшебства. Тогда труп вырыли, свезли в село Котлы, по Серпуховской дороге, сожгли, и, смешав пепел с порохом, выстрелили им из пушки в южную сторону, откуда он пришел.

Когда самозванный царь был убит, заговорщики постарались овладеть движением и спасти тех из иностранцев, которые не успели стать жертвою толпы. К 19 мая буря успокоилась; народная волна в Москве снова как-будто вошла в берега. Но, успокоившись в столице, она только начинала разливаться в городах и уездах Московского государства. Гроза налетела слишком внезапно. Царь Дмитрий, только что воскресший и вознесенный, был вдруг неожиданно объявлен самозванцем и убит. Его исчезновение было совершенно непонятным, ему не хотели верить, и в этом отсутствии веры в самозванца царя Дмитрия Ивановича и в его гибель крылась опасность новых движений, новых смут, которые опять, как в 1604 году, должны были с окраин потянуться в столицу.

В 1606 году боярство, наконец, добралось до цели, намеченной десять лет назад; бояре собирались наслаждаться плодами своих деяний, но в 1606 г. участие народных масс в событиях было гораздо заметнее, чем годом раньше. Революционный дух развивался, и, вместо того, чтобы сделаться боярским царством, страна вступала в полосу новых, теперь уже действительно народных смут.

ГЛАВА IV.

Смута в народных массах.

С исчезновением первого Лжедмитрия начинается новая полоса смуты: она выходит за пределы боярского круга. Широкие народные массы, до тех пор мало, сравнительно, затронутые нараставшим движением, теперь все более и более в него втягиваются; начинается социальная борьба, тесно связанная с гражданской войной. Смута расползается по всей земле, начинается полное разорение страны, подготовляется иностранное вмешательство, едва не положившее предела самому существованию Московского государства.

Однако, лица, произведшие переворот 1606 года, думали, что они остаются хозяевами положения, и, прежде всего, озаботились о замещении царского престола в своих интересах. Как избирать царя, уже было указано примером 1598 г.: для этого необходим был земский собор. Кое-кто думал о соборе и в мае 1606 г., но, как говорит летописец, «Бог не помиловал нас грех наших ради и чтоб не унялась кровь христианская», некоторые «по совету князя Василия Ивановича Шуйского» вслед за одним переворотом совершили другой. На четвертый день по убиении расстриги в городе, на Красной площади, появились толпы; В. И. Шуйский был выведен на Лобное место, голоса из толпы закричали, что он должен стать царем[30]); голосам этим никто не противоречил, и Шуйский отправился в Успенский собор в качестве вновь нареченного русского царя. Случилось то, что часто бывает в действительно смутное, тревожное время: собралось незаконное собрание, и на нем голосами людей, никем не уполномоченных, но действовавших как-бы во имя общего блага и в интересах всех, было проведено нужное для этих людей решение.

Положение нового царя было чрезвычайно сложным и затруднительным. Заявляя во время событий 12—17 мая, что он действует для народного блага, Шуйский на самом деле действовали в интересах небольшого боярского кружка, а затем и интересы этого круга он заменил своими собственными и стал думать только о себе. Очень возможно, что именно такие соображения побудили хитрого и обычно столь осторожного боярина вдруг проявить неожиданную смелость и отвагу и стать во главе заговора против Лжедмитрия. Погоня за личными выгода-

ми уже совсем ясно видна в подстроенном им избрании самого себя в цари, опираясь, может быть, на давние связи Шуйских с московским населением. Все же В. И. Шуйский был слишком ловок, чтобы не понимать запутанности положения, в которое попал: он не был ни избранником всей земли, ни избранником кружка, к которому принадлежал. Ища выхода, он подумал прежде всего опереться на народ и начал говорить в соборной церкви Успения, едва ли не тотчас после своего избрания, «чего искони век в Московском государстве не повелось, что целует всей земле крест на том, что ему ни над кем ничего не сделать без собора никакого дурна, а какая была грубость при царе Борисе, за то не мстить»[31]). Сообщив об этом факте, летописец, еще раз, подчеркивая, говорит: «Бояре же и всякие люди ему говорили, чтобы он в том креста не целовал, потому что в Московском государстве того не повелося»[32]). Как будто бояре воспротивились уступкам в пользу всей земли, а вся земля осталась глухой к речам нового царя. Как бы то ни было, но крестное целование всей земле царь Василий заменил другой записью, где обещал «всякого человека, не осудя истинным судом со бояры своими, смерти не предать и вотчин, и дворов, и лавок, и животов у братьев их и у жен, и у детей их не отымать, если они не были в одной мысли с ними»; кроме того, он дал обещание не слушать ложных доносов и без вины ни на кого своей опалы не налагать[33]).

В записи царя Василия Ивановича не раз хотели видеть указание на ограничения царского самодержавия. Если вдуматься в то, что выкрикнутый на Красной площади царь делал в первые дни своего царствования, то следов настоящего ограничения власти, проведенного особым государственным законом, мы не найдем ни в его записи, ни в объявлении, которое он сделал, или хотел сделать, в Успенском соборе всему народу. Можно говорить об уступках, с его стороны; уступки эти он, может быть, хотел сделать в пользу более широких слоев народа, чтобы защититься от бояр, с которыми до тех пор он был в тесном единении. Но бояре выступили с какими-то представлениями и возражениями, и Василию пришлось обещать не подвергать никого опале и казни, не осудив истинным судом со своими боярами. Прежние друзья и товарищи потребовали от Василия уступок в свою пользу, и новому царю, который ни по своему характеру, ни по условиям своего воцарения не мог, подобно царю Борису, итти на открытую борьбу с боярством, пришлось уступить и уступить именно в пользу бояр. Все же подкрестная запись Шуйского есть не ограничение власти царской, а только некоторое обещание, им данное. В этом, однако, и таится ее большое значение; до

тех пор русский царь никогда никому не давал обещаний. Если теперь он принужден был такое обещание дать, значит существо его власти изменилось. И это было действительно так: уже при Лжедмитрии бояре велели сказать в Польше, что они желали бы видеть в Москве царем королевича Владислава; немножко позднее послы самого Шуйского, князь Волконский и дьяк Иванов, там же в Речи Посполитой говорили, что «хотя бы был прямой и прирожденный государь царевич Дмитрий, но если бы его на государстве не похотели, то ему силою нельзя быть на государстве»[34]). Правящие круги, бояре и, может быть, близкие к ним люди из дьячества в короткое время, протекшее до смерти последнего «прирожденного» царя Федора Ивановича, отучились от мысли о прежних царях с неограниченной властью, и если они не умели своих мыслей выражать ясно, то смутно их новые взгляды слышатся не только в речах послов в Польше, но и во всех действиях Василия Ивановича в первые дни его царствования. Таково было одно из последствий развивавшейся смуты: первый избранный царь, Борис Федорович, был таким же неограниченным царем, как его предшественник. Те, кто его свалили, допустили на престол второго представителя боярства, только заручившись от него обещанием править вместе с ними. Борьба за царскую власть среди бояр приводила к некоторому изменению и умалению самой царской власти.

Делая уступки боярам, чтобы обезопасить себя от них, царь Василий должен был думать и о своем трудном положении по отношению к более широким кругам народа. Переворот 17 мая был слишком внезапным; в глазах народа, гибель только что признанного царя Дмитрия Ивановича оставалась непонятной. Бессовестные искатели приключений, каких к тому времени развелось уже немало, отлично это понимали. Дворянин Михаил Молчанов, один из убийц Годуновых, скрылся из Москвы в майские дни и, убегая к литовским границам, распространял слух, что он сам не кто иной, как царь Дмитрий, спасшийся от убийц; и народ ему верил, как он потом верил другим самозванцам. Какому-нибудь Молчанову иные верили, может быть, более, чем самому Василию: ведь князь Шуйский уж очень много раз менял свое мнение об угличском деле, хотя и знал его, быть может, лучше всех. Чтобы подкрепить свое положение с этой стороны, Василий прибег к экстренным мерам. В начале июля 1606 г. в Москву были торжественно перенесены мощи похороненного в Угличе царевича, причтенного к лику святых. Уже этим самым узаконивался взгляд на его смерть, как на неповинное страдание, как на убийство, совершенное, конечно, Борисом Годуновым, что-

бы добиться престола. Вся история Дмитрия, Бориса и вообще история событий с воцарения Федора была соответственно обработана и изложена в особой повести, которая была составлена по поручению нового правительства, переписана во многих списках и искусно распространена в народе. Если в этой повести новый царь открыто провозглашал Бориса убийцей царевича, то само собою разумеется, что о только что свергнутом названном Дмитрии повторялось то, что говорил о нем еще царь Борис. Дмитрий объявлен был расстригой-колдуном и чернокнижником Гришкой Отрепьевым. Кроме составления повести, постарались о Гришке Отрепьеве разгласить повсюду и официальным порядком. Во все города были разосланы правительственные извещения о перевороте 17 мая; секретарей Лжедмитрия, поляков братьев Бучинских, ложно или вправду, заставили показать, что Лжедмитрий на самом деле замышлял все, что на него хотели взвалить,—избить бояр, насильно ввести католичество и т. п. Разослали также грамоту царицы-инокини Марфы, где она, со своей стороны, объясняла признание ею Дмитрия страхом и давлением, на нее оказанным. Сам царь Василий в грамотах называл себя потомком Александра Невского, ошибочно или ложно выводя свое происхождение от линии Рюриковичей, более старшей, чем линия князей московских. Очень характерно, что все официальные документы были внесены и в повесть, составленную по поручению царя или близких к нему людей. Всех хотели убедить в своей правоте именно потому, что знали, как много народа в этой правоте сомневалось. Уже не один раз до того обманывали народное легковерие; наставало время, когда уверять и убеждать народ в чем бы то ни было становилось все труднее. Запавшее в народные массы сомнение, однако, только начинало развиваться, его последствия были еще впереди, но судьба вышедшего из боярской среды царя была уже предопределена. Занимая престол, он хотел обмануть свою братью бояр; поэтому бояре его не взлюбили и ему не доверяли. Он слишком во многом хотел уверить широкие круги населения, которые, не раз будучи ранее обмануты, именно в это время стали сомневаться во всем, что им возвещалось от имени царя и правительства.

Оттого и умножились в царствование Василия Шуйского народные движения; оттого и пошла смута в глубь народных умов и в ширь по русской земле. Первым восстанием против нового царя было то, которое опять охватило всю южную окраину Московского государства. Оно началось летом 1606 года, как только на юге узнали о смерти царя Дмитрия. Центром восстания сделался Путивль, за год до этого главный оплот первого самозванца. В первый момент во

главе восстания стали недовольные новым царем два члена московской знати, хотя не первого разбора, но все же люди высокого положения,—кн. Григорий Петрович Шаховской, посланный Шуйским в Путивль воеводой, и черниговский воевода, кн. Андрей Телятевский, тот самый, из-за которого год назад был так обижен П. Ф. Басманов. Опять заварили кашу члены московского боярства, и опять их затеи пошли далее их желаний. В 1605 г. жители окраин двинулись на столицу во имя законного государя, В 1606 г. они были подняты вновь во имя тени государя, но они шли не с надеждой на получение законного удовлетворения от нового царя, а озлобленные и озабоченные тем, чтобы самим взять то, чего они могли достигнуть. Социальный протест, чуть-чуть заметный в шайках Хлопка-Косолапа, движимых голодом и лишениями, теперь зазвучал с полной силой: разбуженные ссорившимися боярами, народные массы отказывались работать для высших кругов и начинали действовать во имя своих слепых, неясно сознаваемых интересов. Вот почему личности Шаховского и Телятевского скоро отходят на задний план и настоящим главою движения становится «большой воевода», когда-то боярский холоп, побывавший в турецкой неволе, освободившийся и пожививший затем за границей, в Венеции и Польше—Иван Болотников. Этот бывалый, много видевший, и, повидимому, действительно способный человек, придал движению уже не политическую, а ясно очерченную социальную окраску: взбаломученные народные массы нашли своего вождя и его устами заявили о своих целях. Вот о чем говорили «прелестные листы»,—прокламации,—рассылаемые Болотниковым с целью агитации и пропаганды: в них были призывы, обращенные к общественным низам, «к боярским и детей боярских холопам» и «ко всяким ворам на всякие дела, на убиение и грабеж». «Велят боярским холопам побивать своих бояр и жен их и вотчины и поместья сулят, безыменным ворам велят гостей и всех торговых людей побивать и имения их грабить; призывают воров к себе и хотят им давать боярство и воеводство и окольничество»[35]), т.-е. привлекают недовольных всеми благами, какими обладали власть и богатство имущие. И действительно, «собрались боярские люди и крестьяне, а к ним пристали украинские посадские люди и стрельцы и казаки, и начали по городам хватать воевод и сажать по темницам; они разоряли дома своих господ, грабили их имущество, а жен и детей позорили и брали себе»[36]). Словом, в движении с самого начала послышались звуки, до тех пор еще мало заметные, но в это время наполнившие собою общерусскую смуту и надолго сделавшиеся основным ее содержанием.

К движению, пошедшему из Путивля и Чернигова, при-

соединились на некоторое время люди, по существу не имевшие с ним ничего общего: это было дворянское военное ополчение,—тульские и рязанские служилые люди, враждебно настроенные против В. И. Шуйского и жалевшие о Лжедмитрии, потому что тот в награду за их измену царю Борису собирался прибавить им поместий и денежного жалованья. Рязанцы шли под предводительством своих вождей, Г. Ф. Сумбулова и Прокопия Петровича Ляпунова, имя которого позднее переходит в ряды самых крупных деятелей Смутного времени; туляне вместе с веневцами и каширянами были под начальством местного служилого человека, веневского сотника Истомы Пашкова.

Движение на юге имело очень быстрый и большой успех. Болотников, овладев Кромами, двинулся к Калуге и оттуда к Серпухову, который и занял. Ляпунов и Пашков взяли Коломну. Соединившись на Оке, мятежники двинулись к Москве, и, став в селе Коломенском, держали столицу в осаде с октября по декабрь 1606 года. Осенью этого же года восстание, поднимаемое все еще именем царя Дмитрия Ивановича, распространилось и далее, обнимая такие области, которые до того времени оставались совсем спокойными. К западу от Москвы оно охватило Малоярославец, Можайск, Волок-Ламский, Ржев, Зубцов, Старицу и другие соседние города; на востоке русские люди, вместе с инородцами, осадили Нижний-Новгород; очагами восстания были Арзамас и Алатырь; движение дошло до Свияжска. Опасность для царя Василия казалась очень большой, но под Москвою воровские листы Болотникова открыли глаза его случайным союзникам. Служилые люди почувствовали, что царь им ближе, нежели восставшие холопы. 15-го ноября на сторону царя перешли Ляпунов и Сумбулов; 2-го декабря на Коломенское напал сам царь: измена Пашкова Болотникову решила дело в пользу Шуйского. Болотников должен был отойти сначала в Калугу, потом, весною 1607 г., в Тулу. Здесь он был осажден царскими войсками; 10-го октября город был взят. Гражданская война всегда отличается наибольшей жестокостью; борьба царя Василия с мятежниками была уже настоящей гражданской войной; естественно поэтому, что в ответ на жестокости болотниковской рати над дворянами и воеводами, последовала не менее жестокая расправа над мятежниками. Много людей было перебито и казнено вместе с руководителями движения. Впрочем, свою братию, Шаховского и Телятевского, пощадили: они отделались ссылкой.

Шуйский с торжеством возвратился в Москву, но торжествовать было рано. Движение Болотникова было все же поднято во имя не погибшего якобы Дмитрия Ивановича; но спасенный царь так и не появился при Болотникове. Его заменили объявившимся где-то на юге у терских казаков, лже-

царевичем Петром, якобы сыном царя Федора, сокрытым от козней Годунова. Лжепетр с небольшим отрядом присоединился к Болотникову и вместе с ним сложил голову под Тулой. Не успел Василий отпраздновать взятие Тулы, как ему пришлось бороться с новым соперником, на сей раз действительно носившим имя Дмитрия.

В той же Украйне, в г. Стародубе-Северском *), вдруг воскрес и объявил себя царь Дмитрий Иванович. Кто был в точности второй Лжедмитрий, следы которого впервые появляются в мае 1607 г. за рубежом, в Пропойске **), пограничном местечке Литовского великого княжества, мы не знаем; одни говорили, что он попов сын, другие, что он из дьяков, третьи—что он едва ли не из евреев. Вероятность первого из трех предположений подкрепляется тем, что он отлично знал священное писание и весь круг церковного служения. О нравственном его облике говорить не приходится; все современники вполне согласно рисуют его, как мелкого и в то же время низкого человека. Новый царь Дмитрий со свежими шайками украинской вольницы, а, главное, с отрядами, пришедшими к нему на помощь из Литвы и Польши и состоявшими из искателей приключений, мечтавших получить хороший улов в мутной московской воде, двинулся было в августе на помощь осажденной Туле, но не поспел на выручку Болотникову. К его войску присоединились только те, кто, спасаясь, бежал из-под Тулы на Украйну; в числе таких беглецов был знаменитый потом в летописях смуты атаман Иван Мартынович Заруцкий.

Новое движение таким образом непосредственно примкнуло к прежнему. Спасшиеся от погрома сподвижники Болотникова почти все присоединились ко второму Лжедмитрию; однако, при нем движение снова меняет свой характер. Перестройка общественных отношений, социальная революция, стремление к которой так ясно видно у Болотникова, отходит на задний план. Движение вырождается; с ним происходит явление, обычное в истории народных движений: народная масса не может двигаться одной отвлеченной идеей,—ей нужны совершенно определенные и притом для нее понятные и ясные цели. Если эти цели затуманиваются, перестают быть простыми и ясными, то всякое движение превращается в анархический натиск, в простой грабеж, где жажда наживы отдельных лиц не знает ни удержа, ни пределов. Уже при Болотникове идея справедливого возмездия бедным за счет богатых потонула в крови и насилиях. Движение, связанное с именем второго Лжедмитрия, не знало уже никакой руководящей идеи, и мысль о законном государе, ищущем престола предков, и мысль о награде для обездолен-

*) ныне Черниг. губ.
**) ныне Могилевской губ.

ных,—все было забыто в новом ополчении, которое двигалось теперь к Москве; все уступило место простой погоне за чужим добром и отозвалось сплошным разорением Московского царства. Иначе и не могло быть: слишком уже запутались в своих мыслях и целях русские люди, которые в нем участвовали искренно; слишком много стало в нем простых разбойников; слишком большое место занимали в нем заграничные искатели приключений. Один из них, как «гетман», князь Роман Ружинский, из старого рода, происходившего от великого князя литовского Гедимина, шли, движимые примером сподвижников первого Лжедмитрия; другие, подобно знаменитому Лисовскому, бросились за русским вором, потому что были замешаны в только что подавленный польский мятеж, и оставаться дома было для них не безопасно; третьи, в том числе не менее известный староста усвятский *) Ян-Петр Сапега, вступали в рать нового Лжедмитрия с разрешения самого короля Сигизмунда, и ставили себе целью рыцарские подвиги и месть москвитянам за оскорбления, нанесенные полякам, приехавшим на свадьбу Марины Мнишек.

С таким-то войском самозванец двинулся на Брянск, оттуда на Козельск и Белев, направляясь к Туле; но сдача этого города заставила его повернуть назад к Карачеву. Там, бросив, было, войско, он бежал в Орел и далее к Путивлю; но, оправившись от страха, он еще до наступления зимы двинулся опять к северу и засел до весны в Орле, где армия его получила свое окончательное устройство. 1-го мая под Болховом она разбила правительственные рати, бывшие под начальством неудачливого кн. Д. И. Шуйского; оттуда, минуя места, разоренные прошлогодними походами и военными действиями, Лжедмитрий отправился опять на Козельск, Калугу и далее кружным путем, через Можайск и Звенигород, приблизился в июне 1608 г. к Москве, расположившись к западу от нее в селе Тушине по Волоколамской дороге. Одновременно Лисовский подошел к Москве через Рязанскую область и Коломну, которую он захватил. Но дальнейшие попытки овладеть Москвою или даже обложить ее со всех сторон, пресекши сообщение с другими городами, окончились неудачей. 25-го июня тушинцы попробовали было открытым натиском ворваться в Москву, но были отбиты. С этого времени на год и 8 месяцев установился под Москвою своеобразный порядок: ни та, ни другая сторона не могли одолеть, но против настоящей столицы возникла временно другая. В первой сидел царь Василий Иванович, которого признавала одна часть Московского государства; в другой—Тушине—был самозванный царь Дмит-

*) Ныне местечко Витебской губ.

рий, которого все называли «вором», которого «водили с собою», по словам современника, «королевские люди, князь Роман Ружинский с товарищи», но именем которого распоряжались в другой, едва ли не большей половине царства. Положение тушинского царя, или, как его иногда называли, «царика», еще упрочилось, когда в Тушино прибыла Марина Мнишек, вдова первого Лжедмитрия. Задержанная в пределах Московского государства, она по договору, заключенному 25 июля 1608 г. между Москвой и Польшей, вместе с отцом и своими спутниками была отпущена на родину. Но на дороге под Белой *) путники были перехвачены и затем полунасильственно, полудобровольно были доставлены в Тушино, где Марина из честолюбия, страха или иных каких-то побуждений признала тушинского вора своим мужем.

Тушинская половина царства все увеличивалась за счет Московской. Уже ко времени подхода вора к Москве мятеж и анархия не только вновь овладели всей страной к югу от столицы, но и распространились на западные области. Очень скоро было нарушено спокойствие и на севере, где до тех пор жили почти безмятежно. Осенью 1608 г. Сапега и Лисовский обложили Троицкий монастырь, перерезали сообщение Москвы с северо-востоком и внесли смуту в Замосковный край, как называли в то время старинные города и области к северу и северо-востоку от столицы. Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Вологда целовали крест вору, и вся дорога от Москвы к Белому морю вскоре перешла во власть тушинцев; затем настал черед верхней Волги от Костромы до Кинешмы и Балахны; тушинские отряды пошли из-под Троицы и Дмитрова к Угличу, Кашину и далее в новгородские пределы, на «немецкий», т.-е., точнее говоря, шведский рубеж. Под Псковом и во Пскове смута еще ранее вспыхнула самостоятельно, чуть ли не в начале 1607 года, благодаря жестокости и вместе с тем глупости воеводы Петра Никитича Шереметева; с сентября 1608 г. Псков уже надолго подпал под власть мелкого городского люда, общественных низов, прочно державших сторону тушинского вора. Сначала было «измены для у бояр коней отняли и стрельцам дали, а боярынь в палаты посажали и животы переписали»; потом стали друг на друга доносить, «и многая кровь пролилася бояр и больших людей». «И бояр многих мучили, жгли и ребра ломали и пытали священников», «и много было бито и крови пролито и много грабили крестьян и пригороды и много всякой беды было псковичам»[37]). На другом конце государства, в среднем Поволжье, смута питалась местными очагами; после усмирения восстания мордвы в Алатыре и Арзамасе, оно в 1607 г.

*) Г. Белый, Смоленской губ.

перекинулось в Казанский край к черемисам; восставшие подходили к Нижнему-Новгороду и Свияжску, но взять их не могли; до конца 1609 года восстание тлело на месте, то вспыхивая, то вновь угасая, как бы предоставленное своим силам. Таким образом в 1608 и 1609 г.г. спокойствие было нарушено во всей стране, за исключением лишь отдельных счастливых уголков. А что приносили с собою тушинцы и что делалось в эти годы в области Московского царства—лучше всего видно из рассказов современников: «Пришли литовские люди в Ростов, оплошностью ростовцев, потому что жили просто, совету и обереганья не было, и Ростов выжгли весь и людей пересекли; а из Ярославля лучшие люди, бросив дома свои, разбежались, а чернь с князем Федором Барятинским писали в полки (т.-е. в Тушино) повинные». На Вологду «присланы из полков два сына боярские, Козьма Кадников, а другому имени не упомнит, и чли при всем народе грамоту, и в грамоте написано: велено собрать с Вологды и со всего Вологодского уезда с сохи*) по осьми лошадей с саньми и по 8 человек, а тех лошадей и людей велено гнать порожними в полки, да в той же грамоте писано: велено собрать с Вологды и со всего Вологодского уезда с выти**) по четверти муки ржаной, по четверти муки пшеничной, по четверти круп гречневых, по четверти круп овсяных, по четверти толокна, по четверти сухарей, по осьмине гороха, по 2 хлеба белых, по 2 ржаных, да по туше по яловице по большой, да по туше по бараньей, по 2 полти свинины свежей, да по две ветчины, да по лебедю, да по 2 гуся, да по 2 утят, по 5 куров, по 2 зайца, по 2 сыра сметанных, по ведру масла коровья, по ведру конопляного, по ведру рыжиков, по ведру груздей, по ведру огурцов, по 100 редек, по 100 морковей, по четверти репы, по бочке капусты, по бочке рыбы, по 100 луковиц, по 100 чесноку, по осмине снетков, по осмине грибов, по пуду икры черной, да по осетру, да по пуду красной рыбы, да питей по ведру вина, по пуду меда, по четверти солода, по четверти хмеля». Такова была громадная дань, наложенная завоевателями на нетронутое и неразоренное еще Замосковье. Но этого было мало. Другая грамота предписывала в Вологде «переписать у торговых людей, которые торгуют рыбой,—рыбу всякую и рыбных ловцов и ловли рыбные, а ловити велено свежую рыбу на него, кто себя называет князем Дмитрием, 5 дней и 5 ночей, а шестой день велено ловить на дворецкого его, на князя Семена Звенигородского». Рассказывали и другое еще: «которые города возьмут, или хотя и волею, крест поцелуют, и те все города отдают панам на жалованье,

*) Примерно, с каждых 1200 дес. обработанной земли
**) С 15—20 десятин.

в вотчины, как и прежде сего уделья бывали; Тотьма и Чаронда отданы Заруцкому пану»[38]). В Ярославле тушинский государев ключник Рязанов «у торговых людей лавки и всякие товары запечатал»[39]). Грабили города, грабили и в деревнях, угоняли скот, увозили хлеб, над жителями делали всякие насилья. Грабители, поляки и русские, свои и чужие «загонные люди», как их называли, действуя именем тушинского царя, разоряли страну. «Добыча была несметная; и в Тушине и в Троицком лагере Сапеги и Лисовского войско плавало в изобилии: нельзя было надивиться, откуда бралось такое множество съестных припасов—всякого рода скота, масла, сыра, муки, меда, солода, вина; даже собаки не успевали пожирать голов, ног и внутренностей животных, разбросанных по улицам»[40]). Власти, назначенные как Москвою, так и Тушиным, были одинаково бессильны остановить грабеж и прекратить безначалие, и писали слезные, но напрасные жалобы к тому правительству, которому признавали себя подчиненными. К настоящим тушинцам примыкали новые местные мятежники, из людей, которые всегда примыкают к той стороне, за которой в данное время чувствуют силу, но примыкают только, чтобы утолить жажду обогащения и построить свое благополучие за счет других. Так как само Тушино было наполнено такими людьми, то понятно, каков был нравственный уровень его новых приверженцев в тех областях, где появлялись тушинские отряды: отряды эти действительно сеяли смуту, которую вслед за тем поддерживали и растили вновь объявившиеся сторонники тушинского царика. Заносимая тушинцами смута находила опору во всех, кто надеялся ею воспользоваться; вот почему время господства тушинцев можно с полной справедливостью назвать временем распространения и разнесения смуты по русской земле. Анархические, чисто грабительские движения местных разбойников и кочующих шаек всякого рода и всякого племени не прекратились и после Тушина. Они продолжаются, пока не замирают последние отзвуки Смутного времени, и чем дальше, тем яснее простой разбой заступает место прежних, иногда более сознательных стремлений; вот примеры, взятые из последнего времени смуты: в 1612 г. «приезжали в князь Луки Осиповича Щербатова поместье, в сельцо Никольское-Слободище (Ярославского уезда), лихие люди, разбоем в ночи; в грабежу взяли те воровские люди опричь Божьего милосердия, животов и платья и денег и служилой рухляди и лошадей на 300 на 30 рублев. А приезжали грабить с Углича казаки по совету села Никольского-Слободища крестьян»[41]). Еще позднее в 1612 году игуменья суздальского Покровского монастыря жаловалась, что «и монастырские вотчинки от польских и от литовских людей

и от казаков разорены, и крестьяне посечены и перемучены. И монастырский хлеб ржаной вывозили и притравили и ничего не оставили[42]).

Что же делалось в это время в столице и на общественных верхах, которые когда-то думали, что они по своей воле могут и вызывать и прекращать народные движения? Мы знаем уже, что к слишком поспешному воцарению Василия Ивановича не могли остаться равнодушными люди одного с ними круга, и что с самого начала между Шуйским и боярством пробежала тень. Большим холодом подернулись и его отношения к главному его союзнику в перевороте 17-го мая—кн. В. В. Голицыну. На место низверженного патриарха Игнатия естественным кандидатом в патриархи должен был быть другой боярский столп—ростовский митрополит Филарет Романов. О его наречении говорили в первые дни царя Василия, но потом очень скоро между царем и Филаретом произошла размолвка, вследствие которой Филарет остался в Ростове, а патриархом сделался Гермоген, митрополит казанский, человек в то время ничем особенным не выделившийся и считавшийся безличным. Есть прямые указания, что новый царь не только не умел упрочить своего положения, но делал все возможное, чтобы его расшатать. «Не помня своего обещания, он начал мстить людям, которые высказывались против него, бояр и думных дьяков и стольников, и дворян многих разослал по городам, а у иных у многих поместья и вотчины поотнимал»[43]). Если в этих словах летописца есть возможные преувеличения, то во всяком случае, новый царь с самого начала сделался очень непопулярным. Внезапное и самопроизвольное воцарение Василия, его «скоропомазание»[44]) отвратило от него людей. В народе его решительно не взлюбили, считали нечестным, пьяницей, блудником. Знавшие его ближе укоряли его в скупости и неподатливости, в том, что он слишком охотно слушал шептавших ему в уши. Одним словом, Василий, проявив в мае 1606 г. некоторую непривычную для него смелость и овладев благодаря ей престолом, на самом деле оставался тем, чем был всегда: не слишком умным, а только хитрым, ненадежным человеком, слову которого давно уже все перестали верить. Дальнейшие последствия такого положения не замедлили сказаться. Из вражды к Василию представители боярской среды—Шаховской и Телятевский,—не поколебались принять участие в движении Болотникова, который истреблял попадавшихся ему в руки бояр и дворян. После первых же успехов второго Лжедмитрия недовольные бояре проявили шаткость: не успел он еще дойти до Тушина, как к нему собирались уже перейти князья И. М. Катырев-Ростовский, Ю. Н. Трубецкой и Троекуров. Когда Тушино стало второй столицей государства, туда потянулись из Мо-

сквы всяких чинов люди, до самых высокопоставленных включительно. Тушино скоро сделалось притоном всех политических врагов царя Василия: сюда перебрался И. Н. Романов со всей родней; там же остался привезенный из Ростова митрополит Филарет; здесь оказались Михаил Глебович Салтыков, с которым нам еще не раз придется встретиться, и другой князь Трубецкой—Дмитрий Тимофеевич, впоследствии один из вождей освободительного ополчения. За боярами следовали люди с меньшим положением; иные, побывав в Тушине, вновь возвращались в Москву и опять переезжали в Тушино; их называли «перелетами»; ими полна была дорога, ведшая из Москвы через Ходынку в Тушино. Самый влиятельный из бояр московских при Василии,—князь В. В. Голицын,—оставался все время в неприязненных отношениях к царю, он не раз склонялся в сторону Тушина, принимал постоянное участие в происках против царя и, наконец, очень содействовал его свержению. Первенствующий боярин, мало энергичный и лично ничтожный князь Ф. И. Мстиславский, оставаясь в Москве, писал униженные письма к «другу и брату», осаждавшему Троицкий монастырь Сапеге, прося, чтобы тот велел «писать ему о своем здоровье» и с надеждою, что «даст Бог очи твои (т.-е. Сапеги) в радость видеть»[45]). Вот что происходило в боярской среде; и она, как глава ее царь Василий Иванович, ни в чем не менялась; занятая своими счетами и ссорами, она не замечала, как разбушевавшееся море заливало ее, и не чувствовала, что одержанные ею победы—свержение Годуновых и первого самозванца—были не победами, а поражениями, отнимавшими у нее силы и ведшими ее к гибели.

Если смута царила в московской боярской среде, то, конечно, и народные массы не могли оставаться спокойными при надвигавшейся всеобщей разрухе и неуверенности в завтрашнем дне. Смущала умы также наличность двух правительств, которые, находясь между собою в борьбе, настолько в то же время нуждались в людях, что были готовы на всякие уступки и низости, лишь бы приобрести себе приверженцев. И в московском простонародье были перелеты; были в Москве и тушинские агенты, сообщавшие туда столичные вести; возможно, что бывало и наоборот. Слабое и неискусное правительство царя Василия не могло вызывать к себе ни страха, ни почтения. Не раз за время тушинской осады, которую в Москве называли «царя Васильевым московским осадным сиденьем»; народ, раздраженный и утомленный, поднимался против правительства, возбуждаемый по большей части агитаторами из боярской и служилой среды; толпа шла в Кремль, требовала царя, кричала на него; Василию угрожали неоднократно свержением с престола. Надо отдать царю справедливость, что он в таких случаях по большей

части находил в себе и мужество и хладнокровие и неоднократно умел найти выход из трудного положения. Однако, настоящим выходом из положения было бы изменение общих условий замутившейся русской жизни. В тщетных поисках в этом направлении царь Василий испробовал разные средства, и, наконец, стал на путь, который привел и его и страну к новым опасностям: он прибег к иностранному вмешательству, что вызвало полный развал страны.

ГЛАВА V.

Развал государства.

Каждое правительство, с которым борются и на которое нападают, обыкновенно защищается. Защищалось и правительство царя Василия Ивановича. В первое время, полагая, может быть, даже вполне искренно, что все предшествовавшее и пережитое было только накипью, чуть затронувшею русскую жизнь, царь Василий пытался действовать строгостью; уже во время болотниковского движения с мятежниками расправлялись со всей возможной жестокостью: когда окончилась осада Тулы, и в руки царского правительства попало большое число сподвижников «большого воеводы», их казнили массами, топя в воде—«сажали в воду», по выражению современников,—и жестокость казней поражала, кажется, даже крепкие нервы тогдашних людей. Василий не умел щадить и более крупных своих врагов: по словам одного иностранца, современника, пережившего русскую смуту, Болотников, сдаваясь на милость царя, говорил царю: «я служил верно тому, кто называл себя Дмитрием, но он выдал меня; если ты оставишь жизнь, послужу тебе так же верно, как до тех пор служил тому, кто не поддержал меня»[46]). Болотников, знавший мятежные низы и умевший влиять на массы, мог бы быть полезен царю, но у Василия недостало ни государственного ума, ни великодушия, ни смелости, чтобы пощадить вождя восставших; Болотникова сослали на север и там утопили, как других. Жестокость в борьбе может только тогда привести к успеху, когда враг уничтожен без остатка, и уничтожен, кроме того, идейно или духовно, когда его дело перестает вызывать сочувствие, и у него не остается сторонников. Правительство Шуйского было слишком слабым, а сам он был слишком мелким, чтобы добиться этого. Однако, и он и его советники понимали, что одними расправами горю помочь нельзя, и в те минуты, когда им казалось, что счастье переходит на их сторону, они пробовали подкрепить свое оружие силою закона. Весною 1607 года, когда Болотников был отброшен от Москвы, Василий Иванович попытался новыми законами предотвратить возможность повторения только-что сломленного движения. 9-го марта, в торжественном заседании Боярской Думы, совместно с высшим духовенством, или так называемым «Освященным Собором», были утверждены законы, ка-

савшиеся холопов и крестьян и устанавливавшие настоящую крестьянскую крепость: крестьянин закреплялся навсегда за тем, на чьей земле он значится живущим; «выход», т.-е. право перейти от одного землевладельца к другому, уничтожался; для сыска беглых крестьян и холопей устанавливался 15-летний срок; таким образом всякий уход становился побегом, а право разыскания и водворения беглецов удлинялось, сравнительно с прежним, втрое. Так ознаменовал царь Василий освобождение Москвы от Болотникова; усилившаяся смута не дала, однако, возможности «Уложению» царя Василия о крестьянах войти в силу. но оно хорошо показывает, что свою конечную победу он использовал бы только в интересах правящих и власть имущих кругов, и что не царя Бориса, а его, с гораздо бо́льшим правом, можно было бы называть основателем крепостного права.

Тушино возникло позднее «Уложения» 1607 года; уже одно это обстоятельство показывает, что новые законы царя Василия имели так же мало успеха, как и жестокие его расправы, которые, кстати сказать, не прекращались и в 1608—1609 г.г. Чтобы выйти из тяжелого положения и освободиться от тушинского вора, сковавшего его параличом, Василий вынужден был искать содействия свежей силы, не замешанной в московскую смуту и потому имевшей возможность, при сравнительно небольшом напряжении, склонить чашу весов в пользу Василия; такой силой была иностранная помощь. Куда же мог царь Василий обратиться за такой помощью? Если исключить крымских и ногайских татар, чуждых, далеких и всегда враждебных, то останутся два государства, соседних с Московским: Польша, точнее, соединенное Польско-Литовское государство, и Швеция. При Борисе отношения Москвы к обоим, казалось, не оставляли желать лучшего. Отношения с Польшей стали портиться только начиная с похода первого Лжедмитрия, при чем виною этому были король Сигизмунд III, желавший личными предприятиями в московской державе усилить свою власть в Польше, высшее католическое духовенство, которое непременно хотело ввести в Москве унию, и искатели приключений, подобные Мнишку, которые просто стремились к личному обогащению за счет мира и спокойствия соседней страны. Каково было действительное участие Польши в русских событиях 1604—1606 годов, мы уже в свое время видели. Василий Шуйский, заняв престол, стал лицом к лицу с тяжелой задачей выпроводить из Москвы уцелевших спутников Юрия Мнишка и его дочери и уладить дело с послами Сигизмунда к первому Лжедмитрию, Гонсевским и Олесницким, потерпевшими оскорбления во время майских событий 1606 года и задержанными в Москве. 13-го июня 1606 года в Польшу было отправлено посольство князя Григория Волконского и дьяка

Иванова. После почти двухлетних переговоров, тяжелых и трудных, 25-го июня 1608 года было заключено нечто вроде перемирия или временного договора на 3 года 11 месяцев, по которому оба государства оставались в своих прежних границах, не должны были помогать врагам друг друга; из Москвы отпускались все поляки, задержанные в ней с 1606 г., а Польша отзывала всех своих подданных, поддерживавших самозванца. Таков был договор. Но ведь мы знаем, что летом 1608 года второй Лжедмитрий был уже в Тушине, под Москвой, и что его движение с самого начала встречало поддержку за литовско-польским рубежом. Мало того, гораздо ранее заключения договора 1608 года, второму самозванцу составили в Польше целый наказ, как скорее и успешнее ввести унию в Москве; значит, даже во время переговоров не было искренности, и Сигизмунд за спиной продолжал поддерживать очаги московских смут. Разумеется, заключение договора не изменило положения дел, он остался мертвой буквой: Марина Мнишек стала тушинской царицей, а подданные короля по-старому оставались главною поддержкою вора; мало того, Сапега и Лисовский, вместо отъезда на родину, 6-го сентября 1608 года начали осаду великой русской святыни, Троицко-Сергиева монастыря. Ясно, что не от Польши могло дождаться помощи то московское правительство, которое ставило себе задачей борьбу с тушинским вором.

Значит, такую помощь могла оказать одна только Швеция, и она ее действительно предлагала Василию еще в 1607 году во время войны с Болотниковым. Но, увлекшись успехами и думая, что, побеждая Болотникова, он побеждает всю смуту, Василий отказался; однако, в следующем году ему пришлось переменить свое решение. Успехи тушинского вора заставили Шуйского летом 1608 года, т.-е. в то самое время, когда Волконский и Иванов заключали договор с Сигизмундом, отправить своего двоюродного племянника, князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, в Новгород для ведения переговоров со шведами; переговоры продолжались до начала 1609 года и привели к договору, который можно считать отместкой шведов за мир 1594 г.: за вооруженную помощь в 5.000 человек шведы получали город Корелу*) со всем северо-западным побережьем Ладожского озера и выговаривали себе в будущем военную помощь Москвы для отвоевания Ливонии от Польши.

Уже это последнее условие должно было непременно ухудшить и без того неважные отношения Москвы к Польше; но в виду особых трений, которые в это время существовали между Польшей и Швецией, новгородский договор 1609 г.

*) Ныне г. Кексгольм, Выборгской губ.

вызвал еще более серьезные последствия. Дело заключалось в следующем. Сигизмунд III, избранный королем польским в 1587 году, был в то время наследным принцем шведским и действительно унаследовал в 1592 году шведскую корону после смерти своего отца, короля Иоанна. Воспитанный матерью Екатериной Ягеллонской, сестрою короля польского, Сигизмунда-Августа, в католической вере при помощи иезуитов, сделавших его узким и слепым фанатиком, Сигизмунд поставил целью своей политики в Швеции возвращение этой чисто протестантской страны в лоно католичества. Последствием было вооруженное движение против короля, окончившееся изгнанием Сигизмунда из Швеции. Главой движения был родной дядя его, герцог Седерманландский, провозглашенный правителем страны, а с 1604 г. ставший королем под именем Карла IX. Не было людей, более сильно ненавидевших друг друга, чем Карл и Сигизмунд; союзник одного тем самым должен был стать врагом другого. Становясь союзником Карла, да еще с обещанием помочь ему завоевать Лифляндию, царь Василий должен был окончательно порвать с Сигизмундом, уже без того давно ведшим враждебную политику против Московского государства. Так намечались формы неизбежного теперь иностранного вмешательства в русские дела—корыстная помощь Швеции и столь же корыстное, оправдываемое теперь союзом Москвы со Швецией, нападение Польши.

Тяжелые последствия иностранного вмешательства сказались, однако, не сразу. В 1609 году и в начале 1610 года судьба как будто улыбнулась Шуйскому. С отрядом шведских союзников, «немецкой кованной ратью», и с теми силами, какие могли оказаться в его распоряжении в Новгороде и в Новгородской области, князь Скопин-Шуйский начал свой победоносный поход к Москве. Он двинулся из Новгорода в мае 1609 года и успешно дошел до Твери; но здесь шведские союзники потребовали платы; ненадежность иностранной помощи сказалась тут впервые. Далее к Москве итти было трудно; Скопин вернулся к Калязину и, разбив здесь отряды, высланные против него Сапегою из-под Троицы, занялся устройством и обучением своего русского ополчения, усиленного людьми, пришедшими к нему с севера. Отсюда, в конце года он продвинулся в Александровскую слободу, в начале января 1610 года, заставил Сапегу и Лисовского с их тушинцами снять осаду с Троицкого монастыря, доблестно отбивавшего все приступы врага в течение 16-ти месяцев. 12-го марта он вступил торжественно в Москву, изнемогшую от осады и изголодавшуюся от недостатка хлеба, возросшего в 24 раза против обычной цены.

Незадолго до его прихода тушинский вор, простояв бо-

лее полутора года под Москвою, внезапно снялся из Тушина и почти бежал в Калугу, ближе к той самой Украйне, из которой он когда-то появился. Вслед за его бегством распался и весь тушинский стан. Победы Скопина были одною из причин давно жданной и желанной в Москве гибели Тушина. Скопин освободил столицу от душившего ее воровского стана, но не он один был виновником бегства вора в Калугу и распада Тушина. Это случилось в такой же степени под давлением великой опасности, надвигавшейся на Тушино, а равно и на Москву с запада, в виде открытого вмешательства в московские дела короля Сигизмунда.

Отношение короля польского и великого князя литовского к московским делам уже нам известно: его первоначальною целью было усиление своей собственной власти в Польше посредством давления на Москву, приобретения московских земель и приобщения Московии к римской вере. Несколько позднее, но еще при первом Лжедмитрии, впервые мелькнула мысль о возможности приглашения на московский престол тогда еще десятилетнего королевича Владислава (Владислав родился в 1595 году); к первоначальным стремлениям прибавились династические расчеты — мысли о выгодах королевского дома: заняв наследственный московский престол, Владислав легче мог со временем выступить кандидатом на избирательный престол польский. Если бы удалась затея сделать Москву католической, или хотя бы униатской*), то в руках русско-польского государя очутилась бы вся Восточная Европа. Возможно, что одновременно с первой мыслью о кандидатуре Владислава на престол московских царей, у его отца уже мелькнула мечта стать самому, если не царем, то действительным правителем Московского царства: ведь десятилетний мальчик не мог сам справиться с трудным делом управления неведомой и чуждой страной. Однако, в ответ на намеки посла Безобразова в 1606 г., король велел ответить, что он «не увлекается властолюбием и предоставляет все дело Божьему Промыслу»[47]). Мысль эта зрела, пока зрела и вынашивалась мысль об избрании королевича московским царем, и таким образом в 1609 году интересы королевского дома уже смешивались у Сигизмунда с интересами личными. Союз царя Василия Ивановича с королем шведским, злейшим личным врагом Сигизмунда, должен был быть решающим обстоятельством, окончательно заставившим короля вмешаться в дела соседней державы. Но вмешательство облегчалось изменившимся на-

*) Уния—соединение православной церкви с католической, при условии признания православными папы главою церкви и сохранения обрядов православной церкви—была незадолго перед тем, в 1596 г. установлена в г. Бресте-Литовском. Она распространялась на православных подданных Сигизмунда III.

строением польского общественного мнения. Мы видели, как косо смотрели в Польше на помощь, которую король оказывал первому самозванцу. Теперь дело очень изменилось: участие многих поляков в предприятии тушинского вора, и притом участие не безвыгодное, приучило к мысли, что московские дела могут дать и славу и богатство. Не даром Ян Сапега, оставивший столь печальное имя в русской памяти, поехал в Московское царство, как он говорил, «для рыцарской чести и ратных подвигов. Будущая московская экспедиция была одобрена в 1609 году на всех «сеймиках», т.-е. на провинциальных дворянских собраниях. Как смотрели в то время в Польше на состояние Московского государства и на вмешательство в его внутренние дела, видно из дошедшей до нас переписки двух современников поляков. «Нам теперь следует положиться во всем на Всемогущего Бога и держать надежду на тех, которые теперь в русской земле пасутся, потому что им до сих пор все сходило счастливо; русские своим государям, которым они крест целовали, толпами изменяют и землю свою нашим отдают, и теперь здесь молва, что наши мало не всей русской землей овладели, кроме Москвы, Новгорода и других небольших городов. На будущем сейме постановят такое решение: видя легкоумие и непостоянство московских людей, которым ни в чем верить нельзя, надобно разорить шляхту (т.-е. дворян и купцов) и развезти в Подолию и другие дальние места, а на их места посадить из наших земель добрых людей, на которых бы можно было в нужное время положиться»[48]). Значит, участие в делах Москвы рисовалось уже как полное распоряжение русским народом и государством.

Чтобы вызвать больше сочувствия к своему московскому предприятию, Сигизмунд должен был начать его делом громким, блестящим и особенно выгодным для Польши и Литвы. Таким делом было овладение важнейшей пограничной крепостью—Смоленском, на который Литва с давних пор заявляла притязания. Летом 1609 года Сигизмунд приступил к военным действиям, не объявляя войны, так как считал союз Василия со Швецией прямым вызовом себе. Только перейдя сам границу, он отправил извещение о том в Москву—«складную грамоту», как тогда говорили. В течение весны и лета происходили мелкие набеги и стычки на смоленско-велижском*) рубеже; зачинщиками набегов были подданные короля, а руководил действиями велижский староста Александр Корвин-Гонсевский, незадолго до того посол в Москве, впоследствии в 1610—1612 гг. всемогущий московский диктатор. В августе вышел в поход сам Сигизмунд и, сосредоточив свои войска под Оршей, обложил в конце сен-

*) Велиж, ныне уездный город Витебской губ.

тября Смоленск, в то самое время, как Скопин приближался к Александровской слободе. Началась 20-месячная смоленская осада, столь же памятная и столь же доблестная, как осада Троицкой Лавры, с тем лишь отличием, что смоленские воеводы Михаил Борисович Шеин и князь П. И. Горчаков были менее счастливы, чем троицко-сергиевские сидельцы, и не могли отстоять Смоленска.

Осада Смоленска была началом войны с Василием, но выступление короля было направлено и против тушинского царика: он становился теперь не нужен. Король сам стал во главе своих предприятий на востоке; подставное лицо, каким в сущности был второй Лжедмитрий, можно было теперь устранить, и вот из-под Смоленска Сигизмунд отправил в Тушино посла Станислава Стадницкого с предложением всем бывшим там подданным короля служить своему природному государю, а не неизвестному искателю приключений. Не всем это предложение, похожее на приказание, было по вкусу; однако, сейчас же за посольством Стадницкого начался переход поляков к Сигизмунду. Покидаемый частью своих сподвижников, угнетаемый другими, вор в январе 1610 года убежал в Калугу, спасаясь и от войск М. В. Скопина-Шуйского и от помыкавших им польских вождей, вроде князя Ружинского или Сапеги. Тогда и прочим остававшимся в Тушине польским подданным не осталось ничего иного, как вступить в переговоры со своим королем. Своим походом и призывом, обращенным к тушинским полякам, король нанес второй удар Тушину, не менее сильный, как мы уже видели, чем князь Скопин-Шуйский. В оставленном вором Тушине события разыгрались следующим образом. Казаки и весь тот русский сброд, который Тушино унаследовало от брожения на Украйне и от болотниковского похода, потянулись вслед за Лжедмитрием в Калугу, имея во главе атамана Заруцкого и тушинского боярина князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого. Польские искатели приключений, предводительствуемые «гетманом» князем Ружинским, зажегши тушинский стан, двинулись по направлению к Смоленску, куда и прибыли за исключением самого гетмана, умершего по дороге. Что же было делать московским перелетам, ушедшим из Москвы и твердо обосновавшимся в Тушине? Вора никто не ставил ни во что; им так же тяготились выходцы из Москвы, как тяготились им поляки; бежать вслед за ним в Калугу, как это сделала «царица» Марина Мнишек, почти никто не хотел; не хотели бить челом Шуйскому. Тушинцев-бояр разделяла с ним вражда и честолюбивое соперничество; неродовитые люди знали, что если Василий даже обещает им прощение, он легко может нарушить слово. Русские тушинцы немедленно после бегства в Калугу укрепились договором: к Шуйскому не отъез-

жать и из бояр на царство не выбирать. При таких условиях для них оставался один исход—ехать к королю под Смоленск, тем более, что и сам Сигизмунд приглашал русских людей под свою высокую руку, обещая им свою милость и ласку. И вот туда отправились послы русской сановной и чиновной группы: боярин М. Г. Салтыков, когда-то впустивший атамана Корелу в Кромы, давний смутьян и изменник князь В. Рубец-Мосальский, сдавший Путивль первому Лжедмитрию и участвовавший в убийстве Годуновых, князь Хворостинин, близкий к первому самозванцу, дьяк Грамотин, Михайло Молчанов, в 1591 году пристав в Угличе, в 1606 г.—первый воскресивший имя убитого в Москве царя-самозванца, и, наконец, Федор Андронов, торговый человек, кожевник, с 1609 года думный дворянин при воре; с этим последним нам придется еще не раз встретиться. За спиной этой разношерстной и беззастенчивой компании, имевшей в большинстве случаев богатое темными делами прошлое, действовал бывший боярин и кандидат в цари, потом в 1606 году нареченный патриарх и вторично нареченный патриархом Тушина, где проживал не то как узник, не то как враг Шуйского. Это был Филарет Никитич Романов. Впрочем, сам Филарет Никитич до Смоленска не доехал; по дороге он был схвачен войсками Шуйского и доставлен в Москву, где он едва ли остался чуждым делу свержения царя Василия.

Такова была судьба Тушина и его деятелей. Послы русских тушинцев по собственному ли почину или по наущению Сигизмунда и его приближенных предложили от имени русской земли престол королевичу Владиславу. 4-го (по новому стилю 14-го) февраля 1610 года они заключили с королем договор следующего содержания: Владислав должен был принять православие и венчаться на царство от патриарха московского; православие сохраняло положение господствующей церкви, но католикам предоставлялось право выстроить в столице «хотя один костел». Имущество и права духовенства и светских людей неприкосновенны. Суд отправляется по-старине; изменения в законах зависят от бояр и от всей земли; царь никого не казнит без ведома своей Думы и без производства суда и следствия; родня виновных не лишается имущества, если она не замешана в их преступлениях. Великих чинов людей царь не понижает без вины, а меньших повышает по заслугам. Для науки дозволяется свободный выход в христианские земли. Русские купцы получают право торговли во владениях короля и пропуск в Европу. Между Россией и Польско-Литовским государством заключается союз. Польские и литовские паны не получают никаких должностей в Московском государстве. Подати соблюдаются по-старине, а новые не вводят-

ся без согласия Боярской Думы. Переход крестьян за рубеж в Литву и Польшу и обратно воспрещается; царь не будет давать вольности боярским холопам. Если кто-нибудь будет бить челом царю о предметах, не упомянутых в договоре, то дело будет решаться с патриархом и со всем освященным собором и с боярами, и со всей землей. В этом договоре, который написан на западно-русском наречии в королевской канцелярии, есть некоторые, существенно новые черты, хотя в основе его лежат те же обещания, которые царь Василий когда-то дал при своем воцарении. Тогда, однако, его собственное желание дать обещания всей земле было неожиданным и казалось необычным; теперь вся земля, т.-е. Земский собор, получает в некоторых случаях особое значение. Надо думать, что в этом чувствуется влияние польско-литовского государственного строя: избирая королевича на русский престол, думали установить в Москве и польские политические обычаи; возможно, что, по мысли заключавших договор русских, Земский собор должен был иметь значение, похожее на значение польско-литовского сейма. Большой новостью является предоставление русским права выезда за границу, чего не было в обычаях Московского царства. Но бояре, заключавшие договор, оберегали и свои сословные права: великих чинов людей царь не понижает и холопам их вольности своей властью не дает; пекутся о себе и те, кто выслужился в Тушине: меньших царь возвышает по заслугам. Во всяком случае, нареченному царю пришлось обещать гораздо более, и обещания свои оговорить гораздо подробнее, чем это сделал Василий Иванович в 1606 году.

Месяц спустя после того, как к двум царям—Василию и Лжедмитрию — прибавился третий—Владислав, 24 летний боярин, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский вступил в Москву. Развал Тушина и бегство вора в Калугу были ближе и ощутительнее, чем военные операции короля и происки русских проходимцев под Смоленском; казалось, что над тусклым царством Шуйского восходит, наконец, светлая заря. Правда, более вдумчивые люди должны были понимать, что и вор не вполне сломлен, да кроме того прибавился новый, более страшный враг—Сигизмунд, ставивший себе целью свержение царствующего государя. Будущая борьба должна быть еще более тяжелой, но одержанные в 1609 году успехи окрыляли и заставляли с надеждою смотреть вперед. Надежду связывали и с личностью молодого Скопина-Шуйского. В марте и апреле 1610 года не было в Москве человека более популярного, чем он. В нем уже видели будущего наследника старого бездетного и нелюбимого никем Василия Ивановича. Невоздержанный Прокопий Ляпунов, в то время первый рязанский воевода, еще в бы-

ность Скопина в Александровской слободе, прислал к нему гонцов, поздравивших его царем, после чего, однако, царь и его братья стали «держать мнение» на племянника, - подозревая его в честолюбивых замыслах. В апреле 1610 г. Скопин на крестинах у боярина князя И. М. Воротынского заболел, «и была болезнь его зла, беспрестанно шла кровь из носа», говорит летописец; через две недели он скончался, и в Москве, по словам того же источника, «плакали о нем, как плакали о царе Федоре Ивановиче»[49]). Его смерть приписали отраве, данной ему будто бы княгиней Екатериной Григорьевной Шуйской, женою князя Дмитрия Ивановича, второго брата царя. Доказательств истины этого обвинения у нас нет; сами современники говорят об этом грустном событии различно. Положительно нам известно лишь то, что царь и его братья подозревали его и завидовали ему, а его соратник, начальник шведского отряда, Яков де-ла-Гарди, «беспрестанно ему говорил, чтобы он шел из Москвы, видя на него в Москве ненависть»[50]) и торопил его приготовления к походу под Смоленск, где должна была решиться борьба Василия Ивановича с Сигизмундом. Скопин был слишком заметным лицом, чтобы его смерть в молодом и цветущем возрасте не показалась неестественной; даже если и не было отравы, слух об отравлении молодого вождя должен был пойти, как должен был пойти в свое время слух о неестественной смерти царевича Дмитрия и царя Бориса. Но если действительно Скопин был отравлен, и если вина в его смерти действительно лежит на царе и его братьях, то этим царь Василий Иванович не только лишил себя последней опоры, но и показал вполне свое неумение править. Со смертью Скопина прервалась только что завязавшаяся связь дома Шуйских с русской землей; если связь эту уничтожил сам царь, то события скоро ему показали, как велико было его преступление.

Сигизмунд, не дожидаясь подхода московской рати, отправил ей навстречу коронного гетмана Жолкевского с войском. Брат царя, князь Дмитрий Иванович Шуйский, принявший начальство над московской ратью по смерти Скопина, был застигнут им врасплох под селом Клушиным*) и 24 июня потерпел здесь жестокое поражение; неудача была тем сильнее, что часть шведского отряда, получив отказ в уплате денег, отказалась драться, а частью даже перешла на сторону врага. Здесь еще более ярко, чем год назад под Тверью, сказалась ненадежность иностранной военной помощи. Клушинское поражение решило судьбу Василия Шуйского. Вожди разбитого войска с остатками своих сил бежали к Можай-

*) Ныне Смоленской губ., Гжатского уезда.

ску в Москве; Жолкевский шел за ними по пятам. Поднял голову и калужский вор: выступив из Калуги, он, взял Пафнутьев-Боровский монастырь и, продвинувшись к Москве, дошел до Николо-Угрешского монастыря и села Коломенского. Встали на Василия и те, кто до тех пор его, казалось, поддерживали. Рязанский воевода Прокопий Петрович Ляпунов сейчас же по смерти Скопина открыто стал против царя и начал ссылаться с калужским вором. Его союзником в Москве был, вероятно, Филарет Никитич Романов, и, во всяком случае, боярин князь В. В. Голицын; измена князя Василия решила судьбу Годуновых; с Шуйским вместе он свергнул первого Лжедмитрия; теперь настал черед свалить и Шуйского. Замыслам Ляпунова на юге помешал было зарайский воевода, тогда мало известный стольник князь Дмитрий Михайлович Пожарский, но клушинская битва развязала Ляпунову руки. С начала июля пошли в Москве тайные переговоры: Голицын сносился с Ляпуновым, постоянным поверенным которого в Москве был брат его Захар, когда-то наказанный по приказанию царя Бориса за недозволенные сношения с донскими казаками. В Москве не гнушались даже переговариваться с приверженцами калужского вора, приглашая их свергнуть своего царика, чтобы потом сообща избрать нового царя.

17-го июля в Москве произошел новый революционный переворот, первую роль в котором играл Захар Ляпунов. Московская толпа, за последние годы привыкшая к уличным движениям и мятежам, ворвалась во дворец, но первый натиск не имел успеха. Ляпунов обратился к царю с упреками: «Долго ли за тебя будет проливаться христианская кровь? Земля наша опустошена, в царстве ничего доброго в твое правление не делается. Положи свой царский жезл, а мы сами о себе промыслим». Шуйский ответил грубыми ругательствами и бросился на Ляпунова с ножом. «Как ты смел мне сказать это, когда бояре мне того не говорят?» Некоторые более рассудительные спутники Ляпунова предотвратили рукопашную схватку между царем и подданным тем, что увлекли Ляпунова из дворца [51]). Тогда движение перешло на Красную площадь; с Лобного места Ляпунов и его единомышленники призывали свергнуть царя, по вине которого льется неповинная кровь христианская. С Красной площади толпа повалила к Серпуховским воротам «на просторное место», насильно взяв с собою патриарха Гермогена. После речей и криков в Кремль отправился царский свояк, князь И. М. Воротынский, и на этот раз свел царя Василия, уговорив его оставить царство. Василий перешел на свой старый двор, но его цепкие руки все еще хватались за царский престол; он не хотел смириться и вел сношения со своими приверженцами. 19-го июля тот же За-

хар Ляпунов явился к царю Василию с чудовскими монахами, насильно постриг бывшего царя, несмотря на его заявление, что «нет его желания и обещания на пострижение»[52]).

Так кончилось несчастливое царствование Василия Ивановича Шуйского. После краткого мгновения, когда счастье ему как-будто улыбнулось, последовало падение и гибель. Падала и гибла и вся страна. Войска Сигизмунда подходили к Москве; калужский вор, пересидевший своего старого соперника, вновь поднимал голову и снова стоял у ворот столицы; у сторонников порядков и законности не было, на кого опереться. Власть в столице перешла в эти дни к боярской думе. Судьба точно смеялась над большими боярами, отдав в их руки власть в то время, когда им нельзя было надеяться удержать ее в своих руках. Им приходилось думать лишь о решении, которое нужно было немедленно принять. Обстоятельства подсказывали только одно: принять уже избранного королевича Владислава и тем уберечь себя от притязаний осмелевшего калужского вора. Современники называли принявших власть бояр «седьмочисленными» или «семибоярщиной»; в состав семибоярщины вошли двое князей Голицыных, князь Мстиславский, князь Воротынский, князь Б. М. Лыков, бояре Иван Никитич Романов и Ф. И. Шереметев; уже судя по этим именам, можно видеть, что это были члены первостепенной московской знати, заварившей политическую кашу при Борисе. Времени у бояр было немного: уже 24-го июля, семь дней спустя после революционного переворота 17-го июля, гетман Жолкевский стоял в Хорошове, между тем как самозванец со своей стороны наступал на Москву от Угреши и Коломенского. Выбирая из двух выходов тот, который казался им лучшим, бояре вступили с Жолкевским в переговоры, приведшие к заключению договора 17/27 августа. Договор этот подтверждал договор 4-го февраля, воспроизведя его почти буквально; в него было внесено лишь несколько мелких, но довольно важных по существу поправок: бояре вычеркнули статью о возвышении незнатных людей по заслугам и заменили ее требованием, чтобы «московских княженецких и боярских родов пред иными иноземцами в отечестве и в чести не теснить и не понижать», да еще отменили разрешение выезжать за границу для науки[53]): узко-себялюбивое стремление и тупое желание гасить всякие новшества—таковы были черты, которые отличали последние крупные государственные действия, совершенные старым московским боярством: оно до конца осталось верным себе и не сделало ни одного шага вперед в своем развитии. Договор был утвержден Земским собором, наскоро собранным боярами, главным образом, из высшего духовенства, думных чинов и представителей столицы. Представителей других русских городов и уездов на нем не

было, и уже это одно не позволяет считать его настоящим и закономерным собором.

С появлением в Москве Жолкевского власть в действительности перешла в его руки; даже в действиях против вора начальствовавший русскими войсками первый боярин князь Мстиславский, стал под команду польского гетмана. Ближайшей заботой Жолкевского было обеспечение за Владиславом престола, на который он был избран. Для этой цели из Москвы, под Смоленск к королю было снаряжено торжественное посольство, которое должно было испросить согласие последнего на избрание сына, выяснить некоторые подробности, преимущественно касавшиеся вероисповедания будущего царя, и, наконец, склонить короля очистить занятые им московские области. В составе посольства, насчитывавшего более 1.200 человек, поехали и представители Земского собора, избравшего Владислава. Заботясь об отправке посольства, Жолкевский обнаружил большие дипломатические способности: он уговорил стать во главе его князя В. В. Голицына и ростовского митрополита Филарета Романова. Власть была в руках гетмана, и обоим ничего не оставалось, как исполнить его желание. Так был удален из Москвы самый влиятельный и могущественный из московских бояр, ближайший кандидат в цари, если бы последнего стали избирать из боярства, и бывший боярин и соперник царя Бориса, человек не менее сильный и влиятельный, с отъездом которого его 14-тилетний сын и наследник Михаил Федорович остался без всякой поддержки. Заодно приготовили к отправке в Иосифо-Волоколамский монастырь и бывшего царя Василия. Жолкевский, кажется, не скрывал, что Иосифова обитель будет только первой остановкой на пути Шуйского в Польшу. 21-го сентября Жолкевский, по уговору с боярами, ввел польский гарнизон в Кремль и Китай-город. Бояре пошли на это, все еще продолжая бояться вора; на самом деле, это была сдача столицы: иностранное вмешательство приводило к занятию Москвы врагами, едва прикрывавшимися обликом дружбы.

Совершив описанные сейчас действия, Жолкевский в октябре 1610 года уехал из Москвы, оставив вместо себя во главе занимавшего Кремль польского отряда уже известного нам старосту велижского, Александра Гонсевского. И в отъезде Жолкевского сказался его дипломатический талант. Он понимал, что и его положение и положение вновь избранного царя Владислава будут очень трудны; главной трудностью было неустранимое противоречие между избранием Владислава и известным Жолкевскому желанием Сигизмунда стать самому царем. Не видя выхода из тупика, он уехал, предоставив другим развязать запутав-

шиеся нити. Еще отчасти в пребывание Жолкевского в Москве, но, главным образом, после его отъезда власть в столице перешла в руки нового правительственного кружка, состоявшего преимущественно из тех же тушинских бояр, дворян, и дьяков, которые еще под Смоленском сделались верными слугами самого Сигизмунда. Постепенно все они перебираются в Москву. Салтыков явился еще при Жолкевском; «через два дня после окончания всех дел», касавшихся избрания Владислава и занятия Москвы,—рассказывает сам Жолкевский,—«приехал из Смоленска некто Федор Андронов, который доставил гетману письмо от короля, заключавшее приказание захватить царство не для королевича, а для самого короля» [54]). Это было в конце августа. Вслед за Салтыковым и Андроновым появились и другие все известные нам лица: князь Рубец-Мосальский, князь Хворостинин, Молчанов, дьяк Грамотин. Все они получили в Москве назначения на самые видные и ответственные места, согласно расписанию, составленному в королевском стане под Смоленском. Трудно представить себе правительство хуже того, которое они образовали в Москве. Вот отзыв о московских порядках современника и участника событий, князя И. М. Воротынского, которому самому пришлось просидеть под арестом при новых правителях: «Как гетман пошел под Смоленск, то после него Гонсевский стал жить на цареве Борисове дворе, а Михаила Салтыков мимо своего дворишка, на дворе Ивана Васильевича Годунова, а Федька Андронов—на дворе Благовещенского протопопа, на котором никогда никто не стаивал и не живал. По воротам по всем поставили сторожей своих, решетки у улиц поломали, и московским людям никаким с саблей, не только при бедре и плотникам с топорами ходить, и ножей при бедре никому носить не велели, дров мелких на продажу и крестьянам привозить не давали, и по вечерам побивали всяких людей, кто идет улицей из двора во двор; к заутрени не только мирским людям, и священникам ходить не давали» [55]). Такова была жизнь в столице, и слова Воротынского рисуют картину, обычно наблюдаемую, когда власть захватывается безответственным кружком людей, преследующих не государственные цели, а узко-кружковые или даже личные. Члены нового правительства выпрашивали себе у короля земли и вотчины; самые бессовестные, вроде Андронова, назначенного государственным казначеем, открыто расхищали царскую казну. Патриарха, мужественно встретившего их вопросом, пришли ли они «правдою или лестию» и даже приказавшего Михаила Молчанова, одного из самых завзятых изменников, «из церкви выбить вон бесчестно» [56]), оскорбляли до того, что боярин Салтыков даже замахнулся на него ножом. Добавим к этому, что и старые бояре, и новые

временщики, и прежние слуги Шуйского, и доброхоты Сигизмунда осыпали письмами и просьбами короля, гетмана, литовского канцлера Льва Сапегу и других сановников Речи Посполитой, выпрашивая себе все, что могли, жалуясь друг на друга, обвиняя один другого в измене, стараясь один перед другим выслужиться перед новыми господами, которых все одинаково ненавидели и все в равной степени готовы были при случае предать. Таково было разложение и нравственное падение среди людей, стоявших у власти. Под ними простой народ, уже развращенный смутами, мятежами и нестроениями последних лет, молча злобствовал, сносся до времени обиды и оскорбления польского гарнизона, не имевшего основания смотреть на столицу Московии иначе, чем смотрели на нее присланные Сигизмундом «русские» правители, т.-е. как на завоеванную или добычу.

Не лучше было положение в других городах и областях царства: весь юг, за исключением Рязани, представлявшей в эту минуту как бы удел Прокопия Петровича Ляпунова, продолжал признавать вора; весь север, главным образом, обширный Новгородский край, был во власти шведов, тех самых шведов, которые незадолго до того помогали правительству Шуйского. После Клушинской битвы начальники шведских отрядов Яков де-ла-Гарди и Эверт Горн отошли к северу и заняли выжидательное положение, удерживая по приказу из Стокгольма «Новгородское государство», как залог того, что не вся московская держава попадет во власть Сигизмунда. Там, где не было шведов, и где калужский вор был далеко, бродили шайки, иногда все еще прикрывавшиеся его именем, а иногда просто грабившие за свой собственный счет. Местами, как на востоке, продолжали тлеть очаги местных восстаний; а среди всех этих завоевателей, грабителей и мятежников, боязливо разбредались по домам остатки русских ополчений, помогших было Скопину освободить Москву, а потом разбитых у Клушина.

Призыв на помощь шведов и гибель тушинского стана не принесли спасения; натиск Сигизмунда, смерть Скопина, свержение Василия мятежной Москвой, а, главное, захват власти людьми, о которых, как, например, об Андронове, современники отзывались, что он «не человек и не ведомо кто»[57]), казалось, совершенно развалили и убили Московское государство. В конце 1610 года Русское государство было на краю гибели; спасения не было видно ниоткуда. А между тем источник его уже намечался: спасение должно было притти от самого русского народа, от его сильной, здоровой, не развращенной смутою части.

ГЛАВА VI.

Спасение Русской земли.

В Смутное время русский народ спас себя собственными своими усилиями, доказав этим лишний раз, что в таком национальном недуге, каким была смута, решающее значение имеют не внешние силы, а борьба с болезнью самого пораженного ею организма. Конечно, спасение пришло не от тех, кто начал смуту, не от верхов, не от взбаламученных украинских низов; оно исходило от той устойчивой средины общества, которая всегда дорожила спокойствием и возможностью мирно трудиться. Такие люди не желали и не вызывали смуты; они терпели ее, пока надеялись, что она утихнет сама собою, и лишь позднее, пошли на борьбу против своего собственного желания, чтобы вернуть себе привычные и мирные условия существования.

Пока смута не разливалась по всей стране, до тех пор домовитое крестьянство центральных и северных областей, успешно вынесшее на своих плечах все экономические тяготы прежних досмутных времен, оставалось спокойным. Вести из столицы приходили необычные, диковинные, быть может, заставлявшие многих задумываться. Некоторые и сами бывали в Москве и в походах против первого самозванца, были очевидцами его гибели; но пока опасность, настоящая опасность, опасность потерять все, до жизни включительно, не стучалась в дверь, не грозила отнятием хлеба, сохи, промысла, торговли, не грозила уничтожить с трудом скопленного достатка, до тех пор говорили: «А, может быть, мы уцелеем, до нас враг не дойдет; мы никого не трогаем, не тронут и нас».

Но вот пришла опасность; отряды Болотникова проникли на северо-запад от Москвы; забушевал Рязанский край; начались восстания поволжских инородцев, замутился Псков. Потом появились шайки тушинцев. Составленные из русской украинной голытьбы, из поляков и жителей Западной Руси и из примыкавших к ним уже на местах охотников поживиться чужим добром, предводимые заграничными искателями счастья и добычи и своими потерявшими совесть людьми, отряды тушинцев вносили с собою грабежи, разорения во все те уголки русской земли, которые до того еще не были затронуты бурей.

Мы уже знаем, что делали тушинские отряды в русских областях; повторять сказанное выше о подвигах заточных людей нет нужды. Не следует удивляться, что пробудившееся чувство самосохранения, самое простое, никакими другими целями не задававшееся, кроме обеспечения жизни и имущества, заставило крестьян и горожан Замосковья и севера задуматься о самообороне.

Такая дума могла зарождаться и под непосредственным влиянием переживаемых несчастий, и при известиях о бедствиях, падавших на близких соседей. Когда вологжане услышали о тяжелой дани, на них наложенной, об обязательстве чуть ли не все свое достояние обратить на содержание тушинцев, они «против тех грамот ничего не сказали, а иные многие заплакали, а говорят-де тихонько друг с другом: хотя мы ему (т.-е. тушинскому вору) и крест целовали, а только бы милосердый Бог праведный свой гнев отвратил и дал победу и одоление на врагов нашему царю и великому князю Василию Иванозичу всея Руси, а мы всей душой рады все головами служить, только если бы иные города—Устюг, Усолье и Поморяне—нам помогли». В робких словах, в шопоте запуганных людей уже слышится чувство отпора, которое сделало Вологду одним из главных центров намечавшегося земского движения. О вологодских событиях сообщили в Великий-Устюг, другой большой город русского севера, и в Устюге призадумались над тем, что делалось у соседей: «каким обычаем тем делом промыслить,—целовать ли нам крест или стоять крепко». «И устюжане, посадские люди, и волостные крестьяне с нами поговаривали накрепко, что крест целовать тому, который называется царем Дмитрием, не хотят, а хотят стоять накрепко, и людей собирать со всего Устюжского уезда»; вот уже готова и мысль о вооруженном отпоре для предупреждения набегов тушинцев. Но и этого мало: о вологодских событиях и о своем решении устюжане сообщают другим соседям, еще более удаленным от мест, где хозяйничают тушинцы: на Соль-Вычегодскую, с просьбой и Усольской земле «помыслить вместе с братьями Строгановыми: хотят ли они с устюжанами стоять крепко о том деле», и с приглашением «посадским и волостным лучшим людям, человекам 5 или 6 или 10 приехать пожаловать в Устюг для совета; а наша мысль та: если вы к нам приедете и стоять с нами заодно захотите и нам крест в том целовать между собой, что нам с вами, а вам с нами и жить и умереть вместе». Вот как креп и подготовлялся союз одних земских миров с другими:[58]) об оборонительном и наступательном союзе устюжане с вычегодцами толковали уже в ноябре 1608 года, т.-е. очень скоро после того, как Тушино образовалось, протянуло свои

цепкие щупальцы за Москву и, осадив Троицкий монастырь, перерезало сообщение столицы с севером.

Русский север, начавший своими силами бороться с ворами и достигший кое-каких местных успехов уже в самом начале, т.-е. в первой половине 1609 года, был одним из центров, где сама земля подняла голову против своих разорителей; его сила заключалась в свободном крестьянстве и тесном общении последнего с посадскими общинами. Другой местностью, где точно также земские люди своими силами дали отпор разрушителям государственного порядка и разорителям страны, был Суздальский край,— местность между течением Волги и рекой Клязьмой, уже в то время богатая торговыми и промышленными селами, сделавшимися позднее зародышами теперешнего Иваново-Вознесенского фабричного района. Села эти не находили сочувствия в местных городах, которые почти все были захвачены тушинцами, но они опирались на Нижний-Новгород, все время остававшийся верным правительству Шуйского, и уже с этого времени сделавшийся оплотом государственности и порядка в Московском царстве; кроме того, у местного населения были старые, прочные связи с князьями Шуйскими, сохранившими богатые вотчины в краю, которым правили когда-то их предки, и местные крестьяне потому «прямили» царю Василию. Восстание, вспыхнувшее в Суздальском крае с конца 1608 года, продолжалось весь следующий год; оно не могло быть подавлено тушинскими отрядами, но и само было слишком слабым, чтобы с ними справиться: местная самооборона еще не имела достаточно сил и духовно еще не созрела, чтобы превратиться в борьбу за восстановление общего государственного порядка.

Земское движение в этой ступени своего развития, когда в нем почти не принимали участия служилые люди, частью мобилизованные и оторванные от своих мест, частью расколовшиеся между Москвой и Тушиным, а на севере и вовсе отсутствовавшие, представляет много интересных и одному ему свойственных черт. До нас дошла обширная переписка между земскими мирами, главным образом, северными, обнимающая время от 1608 до 1612 г.г. Поражает самое количество сохранившихся грамот: оно указывает на оживленные сношения, на значительную осведомленность и вместе с тем на пробуждающуюся в несчастиях и бедствиях любовь к погибающей родине. В приведенных выше отрывках грамоты устюжан к усольцам, написанной в ноябре 1608 г., уже можно видеть, как и о чем писали друг другу деревенские и городские люди русского севера. Переписка велась от имени местного представителя правительства и на его имя адресовалась. Но такое лицо—лишь почетный председатель земского мира; грамоты шлются не им одним и

не только ему: «господа́м» — духовенству, и гостям торговым и посадским людям и всей «Вятской, Пермской, Устюжской или другой земли всем крестьянам бьют челом» не только государевы приказные люди соседнего уезда, но и все земские старосты и все крестьяне: мир пишет миру, земля — земле. Грамоты утверждались «на всем мире», на «сходе», прямом наследнике древнего русского веча. Вся земля собирала и людей, снаряжала их и отпускала «на богоотступников, на государевых изменников, на воров и на литовских людей». Это была сильная дружная общая работа для блага своего края, с которой, правда, в смутных очертаниях, связывалось и спасение всей земли от обрушившихся на нее бедствий.

Разрозненные действия земских миров могли привести к длительным и серьезным последствиям, только, если они были бы объединены; такое объединение могло исходить от одного лишь центрального московского правительства; но мы хорошо знаем, как слабо было это правительство, которое не могло без помощи извне освободиться от тушинской осады. Знаем мы также, как и где искало это правительство помощи и для чего царь Василий Иванович отправил в Новгород своего племянника князя М. В. Скопина-Шуйского. Не с одной немецкой ратью предпринял молодой боярин поход из Новгорода на освобождение Москвы и не случайно после своей победы под Калязиным он так долго стоял в Александровской слободе. Именно сюда собрались к Скопину земские ополчения русского севера; здесь он обучал их военному делу при участии шведских инструкторов, и уже из Александровской слободы двинулся на освобождение столицы. И суздальские крестьянские отряды нуждались в самом же объединении; оно пришло из Нижнего-Новгорода, куда весною 1609 г. прибыл астраханский воевода боярин Федор Иванович Шереметев с казаками, стрельцами и служилыми людьми, собранными из поволжских городов. Через Муром и Владимир Шереметев двинулся к столице, и осенью 1609 г. соединился со Скопиным-Шуйским в Александровской слободе.

Таким образом войско, с которым М. В. Скопин-Шуйский вошел в столицу, состояло не только из обычных воинских сил Московского государства, но также и притом в значительной степени, из тех земских добровольческих отрядов, которые сначала возникли, чтобы «стоять за один» и не допускать тушинцев в свой родной край, а потом приняли видное участие в освобождении всей страны от воров, закончившемся вступлением Скопина в Москву.

Однако, дальнейшие события, роковые для дома Шуйских, тяжело отозвались и на первом земском ополчении, с которым так же естественно связывать имя Скопина, как

имена Ляпунова, Пожарского и Минина связаны с последующими. Преемник Скопина по должности начальника московских войск, «вышел из Москвы со множеством воинов, а возвратился со срамом»[59]). Разбитая под Клушиным русская 40-тысячная армия по большей части разбежалась; бежали и земские ополчения в надежде, может быть, что новое надвинувшееся бедствие все же до их глухих уголков не дойдет.

Состояние Московского государства осенью 1610 года было очень смутным и сложным. Боярского царя, нелюбимого и неудачливого, ссадили; иноземное вмешательство привело в конце концов к избранию на русский престол царя-иностранца, но за королевичем стоял король, который сам хотел стать московским царем; в происках Сигизмунда и в злоупотреблениях присланных в Москву исполнителей его воли запуталась и потонула самая мысль о царе иноземного происхождения. Бывший тушинский, теперь калужский, вор продолжал заявлять притязания на русский престол; земля была повержена во прах. Кто же мог в такое время действовать самостоятельно, принимать решение от имени и для блага всей страны? Это могли делать те, у кого были хотя бы какие-нибудь намеки на действительную силу. Одним из таких людей был думный дворянин Прокопий Петрович Ляпунов, очень крупный, но далеко не самый привлекательный из деятелей Смутного времени, как раз теперь выступивший на самый первый план.

Прокопий Петрович Ляпунов принадлежал к рязанскому провинциальному дворянству, отличавшемуся внутренней сплоченностью, духом независимости и некоторым стремлением не повиноваться Москве, что вытекало, вероятно, из старинного украинного положения Рязани. Близкая степь оказывала свое могучее влияние на рязанских служилых людей, но оппозиционное настроение рязанских дворян не мешало им уже чувствовать себя единым тесным кружком, сознававшим свое значение в государстве, отмежевавшимся от низов и проявлявшим недовольство против больших московских бояр, которые слишком ревниво охраняли кормило правления от всяких новых людей, в том числе и от провинциальных дворян. Среди этого своеобразного и замкнутого в себе мирка семье Ляпуновых издавна принадлежало одно из первых мест; оно было упрочено энергией Прокопия и его братьев. Ляпуновы, мы уже знаем, становятся заметными еще до Смутного времени, при царе Борисе Федоровиче; по мере развития событий участие в них Ляпуновых и, в частности, главы семьи, Прокопия становится все заметнее. В 1605 г. под Кромами он убедил рязанских и других украинных дворян и детей боярских изменить Годуновым и целовать крест Лжедмитрию. В пер-

вые месяцы царствования Шуйского он поднял было Рязань на него и присоединился к Болотникову, но повинился царю под Коломенским и был прощен. Шуйский, заискивая во влиятельном представителе рязанского дворянства, дал ему чин думного дворянина и сделал первым воеводой Переяславля-Рязанского *), главного города всего Рязанского края. В этой должности Ляпунов оставался, против тогдашнего обыкновения, целых 4 года, обладая в действительности неограниченной властью над родным краем, «владея» рязанскими городами, как про него говорили.

Властного рязанского правителя никто не смел тронуть, тем более, что Ляпунов в общем успешно оберегал рязанские пределы от вторжения всяких воров. Вино власти бросилось в голову этого честолюбивого, горячего, заносчивого и самодурного человека; он почувствовал, что ему дозволено все, и в 1609—1610 г.г. открыто пошел на царя Василия. О возможных последствиях его неожиданного и неуместного поздравления М. В. Скопина-Шуйского царем мы уже знаем. После неожиданной смерти молодого Шуйского Ляпунов «отложился» от Москвы, и стал затевать новое восстание на царя, ссылаясь с калужским вором, от которого все предшествующее время держался в стороне: он призывал к восстанию воевод соседних городов; призыв этот, однако, не нашел отклика, в частности, разбившись о стойкость и верность царю зарайского воеводы князя Д. М. Пожарского. Тогда старания Прокопия Ляпунова обратились на Москву, и здесь, при деятельном участии братьев Ляпуновых, произошло свержение царя Василия Шуйского.

Трудно сказать, кого именно прочил в это время в цари Прокопий Петрович; возможно, что его кандидатом был бы князь В. В. Голицын, соучастник Ляпунова в свержении Василия с престола. События, однако, предупредили его намерения, и Владислав был избран не только помимо него, но и вопреки его желаниям. Это обстоятельство сразу поставило Ляпунова в ряды противников царя-иноземца.

Но в первое время открытое выступление было все же немыслимо: итти против Владислава, значило играть в руку калужскому вору, который летом 1610 г. был нужен Ляпунову, как средство против Шуйского. Существование калужского царика связывало руки Ляпунову, как оно связывало их многим другим московским деятелям, заявившим себя сторонниками королевича только из боязни вора. Наконец, до поздней осени могла еще сохраняться надежда на действительное воцарение Владислава.

Два события выяснили положение и расчистили путь тем, кто не хотел мириться с создавшимся в Москве положением. 11 декабря 1610 г. калужский вор был убит в Калуге одним из своих приближенных; его смерть рассеяла гнетущий при-

*) Ныне г. Рязань

зрак воровского царя, уничтожила давнюю опасность, спасаясь от которой многие мирились с приглашением царя из Польши. К этому же времени вполне определилось и положение в столице: власть была захвачена шайкой лиц, действовавших от имени и в пользу не Владислава, а Сигизмунда, которого в Московском государстве никто не хотел видеть царем. Мысль о спасении земли посредством иноземного царя рухнула. Надо было искать иного пути; за это и принялись прежде всего русские патриоты.

Если в руках Ляпунова была в это время некоторая действительная сила, то единственным источником нравственного авторитета в стране был святейший патриарх Гермоген, занимавший положение главы Русской церкви с 1606 г. При Шуйском Гермоген не был особенно заметным человеком; глубокий старик, он был возведен в патриархи, потому что его считали слабым, уступчивым, не честолюбивым. Он действительно казался таким, и долгое время совсем не заметно было какого бы то ни было его влияния; он был верным сторонником Василия, которого свели вопреки его возражениям. Он согласился и на избрание Владислава, но под непременным условием, чтобы будущий царь принял православие. Однако, как это часто бывает с людьми, про которых думают, что они слабы и уступчивы, Гермоген мог проявить необычайно сильную волю и непреодолимое упорство в тех случаях, когда он считал дело особенно важным, когда оно касалось самых заветных вопросов православной церкви и всего Московского государства. Как только Гермоген увидал, что король не исполнил данных им обещаний, что в Москве хозяйничают люди, которых он принужден изгонять из Успенского собора, он пошел против них и не остановился в борьбе ни перед страданиями, ни перед голодною смертию в подземной темнице. 30 ноября Гермоген решительно отказался «благословить крест целовать королю», чем вызвал первые попытки насильственных мер против себя со стороны приверженцев короля с боярином Салтыковым во главе. С этой минуты Гермоген сделался тем «твердым адамантом», «крепким и непоколебимым столпом», «поборателем православной веры», каким он остался в памяти современников и потомства. Во второй половине декабря 1610 г., т.-е. сейчас же после смерти калужского вора, Гермоген решился открыто призвать свою паству к восстанию против Сигизмунда и его сторонников и стал рассылать по городам грамоты, призывая русских людей, не теряя времени, по зимнему пути, итти освобождать Москву от литовских людей. Несколько грамот было перехвачено, и патриарх за то был посажен под домашний арест «за пристава», но другие грамоты достигли назначения и попали в Рязань, в Нижний-Новгород и иные города.

Получив грамоты патриарха, вероятно, в конце декабря 1610 г., Ляпунов немедленно поднял восстание против Москвы с ее правительством из ставленников Сигизмунда. Грамоты патриарха давали ему теперь то, чем он никогда не обладал ранее в своих многочисленных мятежных предприятиях: нравственный авторитет, благословение архипастыря русской церкви, единственного представителя нераздельного Московского царства, который в страданиях и угнетении нес свое великое служение православной вере и русской земле. Первыми присоединились к Ляпунову рязанские города, тульская украина и столица вора Калуга с тамошними двором, боярами, вождями и воинством, во главе которого стали два воровских боярина: князь Д. Т. Трубецкой и И. М. Заруцкий. Что сомкнуло их с Ляпуновым? Едва ли одно патриотическое усердие; те, кто жаждал добычи при «воре», не оставляли своих надежд, соединяясь с рязанским воеводой. Вступая в союз с бывшими сторонниками вора, Ляпунов тем самым завязывал сношения со всеми отрядами и шайками, действовавшими именем калужского царика,—например, с воровским тушинским стольником Просовецким, стоявшим в Замосковном крае. Таким образом к Ляпунову сразу примкнула вся зараженная смутой среда; это не сулило крепости начинавшемуся движению. Те, которые два года назад пошли со Скопиным, не так скоро присоединились к Ляпунову, хотя грамоты патриарха и в Замосковье и в других местах подготовили хорошую почву для восстания. Виною в некоторой задержке был, может быть, резкий тон тех грамот, которые сам Ляпунов рассылал по городам: в них слышался слишком резкий отзыв о московском боярстве, которое еще не во всех кругах успело окончательно потерять свое обаяние. Тем не менее призыв Ляпунова стать за землю, за православную веру против польских и литовских людей и русских изменников отвечал настроению в земских и служилых людях замосковных городов и помог прежнему смутьяну сделаться народным вождем.

Нижний-Новгород, бывший уже в 1608—1609 г.г. оплотом государственного порядка против Тушина, и теперь одним из первых, в феврале 1611 г., присоединился к новому движению; этот город сделался новым самостоятельным очагом, распространявшим движение и руководившим им. Между замосковными городами оживилась переписка, образцы которой мы приводили выше. С лихорадочной поспешностью, с большим воорушевлением замосковные города формировали ополчения, снаряжали их и отпускали в поход. В состав городовых ополчений входили стрельцы и служилые казаки, принадлежавшие к городским гарнизонам, целые сотни дворян и детей боярских и отряды «даточных людей»—крестьянского ополчения. В марте ополчения из Рязани,

Тулы, Калуги и Замосковья по последнему зимнему пути уже направлялись к Москве, куда подошли в конце этого месяца.

Перед самым приходом ополчения в Москве произошли серьезные и печальные события. Взволнованное слухами о подходе выручке, московское население восстало против своих притеснителей, что в свою очередь вызвало отпор и подавление со стороны русских захватчиков и польских военоначальников; последствием было кровопролитие на московских улицах, пожар города и бегство части населения. Современники настойчиво указывают на доблестную роль уже известного нам бывшего зарайского воеводы днязя Д. М. Пожарского, который мужественно сражался с поляками, не пуская их из Китая-города на Лубянку и Мясницкую, пока его, израненного и еле живого, не увезли в Троицкий монастырь; указывают также и на «зачинателя злу», «изменника и богоотступника» боярина Михаила Глебовича Салтыкова.

Как бы, однако, ни было, московское восстание не задержало подхода ополчений, и с первых дней апреля под стенами Москвы расположилась многочисленная, но несколько разношерстная рать борцов за освобождение столицы и всего Московского государства. Она заняла полусожженный и полуразрушенный так называемый Земляной город (теперь кольцо между Садовой и бульварами) и примыкавшие к Земляному городу слободы и осадило польский гарнизон, сосредоточенный по линии стен «Белого города» (ныне линия бульваров). У Яузских ворот стал Ляпунов, рядом с ним у Воронцова поля — князь Трубецкой и Заруцкий, у Покровских ворот — костромское, ярославское и романовское ополчения, у Сретенских — ополчения владимирское, нижегородское и муромское, от Трубы к Тверским воротам и далее — прочие ополчения замосковных городов. Казань, Поволжье, Вятка, Пермь и Поморье, за дальностью расстояния, не могли прислать людей по зимнему пути, а развал ополчения помешал им присоединиться к нему летом. Так собралось под Москвою во второй раз ополчение, созданное и снаряженное не правительственными указами, а силой самой земли. На этот раз оно, однако, не было внутренне единым. Под стенами Москвы сошлись вчерашние враги: бывшие сторонники царя Василия и бывшие сподвижники тушинского вора, земские люди, ставшие за государственный порядок, и казачья вольница, исконные разрушители этого порядка. Не было достаточного единства и в среде самих земских сил: главное значение принадлежало в них служилым людям, они состояли кроме того и из набранных на службу крестьян замосковных уездов, но в них совершенно

почти отсутствовало свободное крестьянство русского се вера.

Первой задачей, которую поставило себе ополчение, было создание правительства, хотя и временного, но такого, которое бы приняло управление всей землей, вместо признанного низложенным правительства московского. И по своему личному характеру и по значению, которое ему принадлежало в организации ополчения, Ляпунов мог занять первое место в таком правительстве; он, однако, получил его не сразу и не в полной мере. Между различными и столь мало сходными частями ополчения «была под Москвой рознь великая», и делу ратному спорыни не было между ними. И начали всей ратью говорить, чтоб выбрать общих начальников, кому бы ими управлять, и им бы одних их и слушать. И сойдясь всей ратью и подумав, выбрали в начальники князь Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, да Прокопья Ляпунова, да Ивана Заруцкого. Они начали всеми ратными людьми и всею землею управлять, с литовскими же людьми бои у них бывали всякий день»[61]). Так описывает летописец то, что происходило под стенами Белого города. Ляпунов был избран только членом верховного правительства, составленного из трех лицы, но понятно, что, на-ряду с воровским атаманом Заруцким и безличным Трубецким, энергичный и властный Ляпунов сделался его душою. Ближайшее дело ополчения понемногу подвигалось; в июле были взяты все башни Белого города, попытки подать помощь осажденным извне были успешно отражены, и хотя 3 июня Сигизмунд после 20-месячной осады овладел, наконец, Смоленском, но последствия этого большого польского успеха не успели еще сказаться под Москвою. Не думали, вероятно, в ополчении и о судьбе великих послов Филарета и Голицына, которые не согласились признать царем Сигизмунда и, после почти полугодичного томления под Смоленском, были отправлены в Польшу в качестве пленников короля. Они были представителями большого московского боярства, интересам которого, как в целом, так и в лице отдельных его членов, мало сочувствовал глава земского ополчения. И внутренними делами усердно занимался Ляпунов; его стараниями были созданы при ополчении «приказы», принявшие управление отдельными ведомствами, налаживались хозяйственные дела; Ляпунов старался обуздывать казачье своеволие. Венцом его правительственной деятельности был приговор 30 июня, утвержденный всем ополчением устав временного правительства и программа его деятельности. В нем ясно чувствуется влияние Ляпунова и той дворянской служилой среды, к которой принадлежал «всего московского воинства властитель»[62]). Приговор 30 июня в окончательной форме устанавливал приказы для управления землею и порядок управле-

ния войском; он вводил порядок в расстроенные служебные и земледельческие отношения, отдавая явное предпочтение дворянским интересам и стараясь сломить все казачьи вольности, несовместимые с государственными интересами, как их понимал Ляпунов и окружавшие его предводители служилых людей. Так, например, в этом приговоре объявлялось, что беглые или увезенные от владельцев в Смутное время люди должны быть возвращены прежним господам, а атаман и казаки, занявшие места правителей городов, дворцовых сел и «черных» волостей, населенных свободными крестьянами, должны были быть оттуда удалены. Все для дворян, занимавших преобладающее место в ополчении, все против казачества и голытьбы, нарушавших государственный порядок. Если рассуждать только с точки зрения последнего, то многое в приговоре 30 июня может показаться необходимым, но проводить такие постановления в ополчении, где казачество, по происхождению своему состоявшее более чем на-половину из беглых крестьян и холопов, значительно превышало по численности дворян, было прямым вызовом. Властный поборник интересов военно-служилого сословия, отличного от боярских верхов и крестьянских низов, Ляпунов слишком понадеялся на свою силу. Казаки ненавидели его за его дворянскую политику и крутые меры против казачества; но Ляпунов успел возбудить раздражение и среди тех, кто должен был бы считаться его сторонниками. Возвеличенный судьбой Ляпунов, как это часто бывает с людьми, не сумел удержаться на должной высоте: он «не по своей мере вознесся и возгордился, много делал он позора и бесчестья отецким детям и не только боярским детям, но и самим боярам. Приходили к нему на поклонение и стояли у него у избы многое время: он не пускал к себе никого и укоризненными словами многих поносил; к казакам же был особенно жесток и за то была на него ненависть великая»[63]). Она не замедлила проявиться на деле. 22 июля среди казаков произошло возмущение; призванный в казачий круг Ляпунов был предательски убит. Так погиб этот второй народный вождь, неуравновешенный, неукротимый в своем честолюбии и жажде власти, но способный, энергичный и умевший верно понять задачи момента.

Его смерть была началом развала и расстройства всего ополчения. Убив Ляпунова, казаки подняли голову: наоборот, дворянские части ополчения, лишившись своего вождя, потеряли и то преобладание, какое они успели получить при Ляпунове. «Под Москвой было нестроение великое и ратным людям от казаков гонение и теснение великое. Ратные же люди не могли терпеть лая и нестерпимого позора, они отошли все от Москвы прочь, по своим городам»[64]). Под Москвой из дворян остались только «их (т.-е. казачьей) сто-

роны, которые были в воровстве в Тушине и в Калуге»[65]). Остатки ополчения оказались под начальством настоящего вождя казачьей вольницы Заруцкого, одного из самых откровенных грабителей земли русской, и безвольного и бесталанного князя Трубецкого. Осада Москвы ослабела; польский гарнизон легко сообщался с внешним миром; отряды Сапеги и Лисовского и гетмана Хоткевича доставляли ему провиант и подкрепления. В казачьем стане, или, как тогда говорили, «таборах», перестали думать об освобождении столицы; таборы превращались в новое Тушино. Интересно отметить, что едва ли не самой главной заботой оставшихся под Москвой вождей ополчения «великой российской державы бояр и воевод», Трубецкого и Заруцкого, была реквизиция теплого платья и шуб для казаков, стоявших под Москвой. Для этой цели во все города, в которые посланцы из казачьих полков могли проникнуть, были посланы приказы «по боярскому и всей земли приговору собрать на одежу с сохи по 27 шуб бараньих, а с дворцовых сел и с черных волостей с трех вытей по шубе»[66]). Можно себе представить, как встречено было подобное требование населением и какими слезными мольбами оно просило избавить его от столь тяжелых жертв.

Случайная гибель вождя — Скопина-Шуйского — и неудача в войне с Сигизмундом решили участь первого земского ополчения; в несколько ином составе оно вновь собралось освобождать русскую землю в 1611 году: внутренняя рознь и противоречия, таившиеся в нем самом, и опять-таки случайная смерть главного вождя обрекли и второе земское ополчение на неудачу. Его участники, по крайней мере, те, кто явился под Москву с целью избавить столицу и русскую землю от врагов, растеклись по домам, думая найти в своих углах хотя бы свое собственное спасение.

Вторая половина 1611 года—наиболее тяжелое и мрачное время смуты; она кажется беспросветной; мрак сгущается еще вследствие крупного успеха Сигизмунда под Смоленском. Король мог бы многого добиться в Москве, если бы он явился туда после гибели Ляпунова; но за неимением денег для дальнейших операций ему пришлось из-под Смоленска возвратиться в Варшаву, где, в надежде на получение кредитов от сейма, он устроил пышную и торжественную церемонию приема пленного царя Василия Ивановича и его братьев. Надежды короля были, однако, тщетными; сейм, довольный взятием Смоленска, остался глух к честолюбивым планам короля; военные операции 1612 г. король должен был вести по прежнему на свой счет; они замедлились, и когда он поздней осенью подошел с войском к Волоку-Ламскому, было уже поздно: поднявшаяся с

новой силой третья народная волна достигла, наконец, желанной цели, освободила Москву и сохранила самобытность Московского государства.

Нижний-Новгород, оплот движения 1609 года и наряду с Рязанью устроитель ополчения 1611 г., теперь становится главным очагом народного движения. Большой торговый город, ни разу не поддававшийся крамоле, все время верный Шуйскому, а после него мысли о законном государственном порядке, Нижний-Новгород был как бы предназначен, чтобы подготовить в своих стенах освободительное ополчение Кузьмы Минина и князя Пожарского. Участники ляпуновского ополчения, возвращаясь после московской неудачи, приносили с собою тяжелые думы о том, как быть дальше. И в Нижний принесли они грустные вести из-под Москвы, вести о взятии Смоленска, о занятии Новгорода шведами. Действовал в то же время и патриарх Гермоген; давно переведенный из-под домашнего ареста в суровое заточение, он все же после распадения ляпуновского ополчения нашел средства разослать грамоты по городам. Одна из таких грамот 25-го августа появилась в Нижнем; ее принесли «бесстрашные люди», как называет их сам Гермоген,—свияжанин Родя Моисеев и Ратман Пахомов. В ней патриарх сообщал о новой опасности: Заруцкий готовился провозгласить царем маленького сына Марины Мнишек и второго самозванца—«царевича Ивашку», или «воренка». Гермоген призывал отвергнуть нежданного кандидата —«отнюдь Маринкин на царство не надобен; проклят от святого собора и от нас» [67]). Он увещевал писать об этом повсюду, обличать в «полках», т.-е. в ополчении под Москвой бояр и атаманов, и «промышлять, как обещались, души свои положить за пречистые дом и за чудотворов, и за веру» [68]). 30-го августа грамота патриарха была уже в Казани. Очень скоро его призыв стал известен на всем востоке и севере Московского царства. Снова оживилась переписка между городами и земскими мирами и снова совместными усилиями всей здоровой части русского народа стало подготовляться спасение родной страны. Кроме патриарха, еще другой, издавна всеми чтимый светильник земли русской — Троицко-Сергиевский монастырь, после только-что выдержанной осады покрывший себя неувядаемой славой, со своей стороны, в лице своего настоятеля, архимандрита Дионисия, рассылал по Руси призывные грамоты на спасение православной веры и Московского государства; они также достигли Нижнего-Новгорода, но уже тогда, когда приготовления к сбору ополчений были там в полном разгаре.

Не всегда, — особенно, когда дело идет об истории Смутного времени, — можно установить имена людей, вынашивавших мысли о движениях, которые оставили прочную по

себе память в истории. По счастию, мы вполне твердо знаем, кто поднял движение в Нижнем-Новгороде, кто был его провозвестником и первым организатором. Это был нижегородский посадский человек, торговец мясом, Кузьма Минин Сухорукий, более известный в памяти истории под именем Кузьмы Минина, или просто Минина. По всем данным, Минин был человек, пользовавшийся влиянием и уважением в Нижегородском посаде. С 1-го сентября 1611 г. (по тогдашнему счету—нового 7119 г.) Минин был избран нижегородским земским старостой, чем-то вроде купеческого старшины или городского головы. По его собственным словам, в избрании на почетную и ответственную должность он увидел «начало Божия промысла», что и побудило его выступить с проповедью и призывом спасать родную землю и православную веру. «Земская изба», где протекала его служебная деятельность, его мясная лавка, его дом, торговая площадь,—вот места, где слышались горячие речи избранника Нижегородского посада. Уже это обстоятельство ясно показывает, насколько отличались обстоятельства зарождения нижегородского ополчения от тех, при которых восемь месяцев назад создавалось ополчение Ляпунова: оно возникало в чисто земской среде, в ином, мало зараженном смутою крае и с самого начала отмежевывало себя от казачества.

К Минину очень скоро примкнули и другие влиятельные лица Нижегородского посада и правительственные служащие, приказный мир с воеводой Алябьевым во главе. Весь город был собран на сход, перед началом которого состоялось торжественное богослужение в Преображенском соборе. Глава нижегородского духовенства, протопоп Савва, произнес горячее патриотическое слово. Речи Минина довершили дело, и весь Нижний принял решение ополчиться за православную веру и за Московское государство на разорителей, польских и литовских людей. Дело спасения страны все более и более ставилось в связь с изгнанием иноземцев, домашние раздоры как бы отходили на задний план.

Для организации ополчения надобны были, прежде всего средства; речи Минина привлекли большие пожертвования. Впрочем, на одни добровольные приношения невозможно было вести дело освобождения страны; добровольные жертвы были заменены правильно организованным денежным сбором; всем этим заведывал Минин. С сентября 1611 года до самого конца Минин остается энергичным, практичным и, по общему признанию, безукоризненно честным устроителем и распорядителем хозяйственных дел ополчения. Талантливый человек из народа, идейный создатель ополчения, он твердо и умело несет сложные обязанности его казначея. Но затевалось большое военное дело; для руководства им нужен был полководец, воевода. Выбор орга-

низаторов нижегородского ополчения не был ни легкомысленным, ни случайным. Мы уже знаем стольника, князя Дмитрия Михайловича Пожарского, верного своему долгу зарайского воеводу, разбившего своей твердостью мятежные замыслы Ляпунова в мае—июне 1610 года; мы видели его в числе бойцов за национальное дело в московской битве 19-го марта 1611 года. Израненный и доставленный в Троицкий монастырь, Пожарский затем отправился долечиваться в свою вотчину, село Мугреево, в Суздальском уезде. Несмотря на опалу, которую их род потерпел при Иване Грозном, Пожарские сохранили вотчины в краю, где их предки были удельными князьями; Пожарских хорошо знали в Суздальщине, их могли знать и в Нижнем-Новгороде. Но, кроме того, князь Дмитрий Михайлович был человеком с вполне установленной и притом очень хорошей репутацией. Он не запятнал себя отъездом в Тушино, не выпрашивал милостей у короля польского; еще до прихода Ляпунова под Москву он стал за дело родной страны, и если мы не видим его среди вождей ополчения 1611 года, то виною этому были тяжкие раны, полученные им в бою на Лубянской площади. Словом, Пожарский был действительно «честным мужем, кому заобычно ратное дело, и который во измене не явился»[69]). Такого вождя искали в Нижнем и наметив Пожарского, нижегородцы не ошиблись. Избранный воевода по личному своему характеру был полной противоположностью Прокопию Ляпунову: тот был горяч, несдержан, самоуверен, этот — осторожен, предусмотрителен; Ляпунов отстаивал провинциальное дворянство против боярства, Пожарский был скорее сторонником боярства, хотя и умеренным; первый вечно против чего-нибудь протестовал и бунтовал, второй был всегда приверженцем исконных устоев московского государственного порядка. И с этой стороны Пожарский как нельзя более подходил к затеянному в Нижнем предприятию: последнее ополчение, в противоположность ляпуновскому, подготовлялось тихо, медленно, без торопливости; оно производит впечатление чего-то гораздо более крепкого и внушительного, и нужно признать, что такое же впечатление оставляют и его вожди, если их сравнить с неукротимым и неуравновешенным Ляпуновым.

Организация самого ополчения, т.-е. воинских сил, которые должны были освободить Москву, была, конечно, наиболее трудным делом; счастливый случай помог в самом начале создать крепкое ядро его: смоленские, дорогобужские и вяземские дворяне летом 1611 г. ушли от короля Сигизмунда из занятой последним Смоленской земли и, в свою очередь, были отпущены подмосковным правительством, т.-е. Ляпуновым, Трубецким и Заруцким, под Арзамас, где должны были получить новые поместья из тамошних двор-

цовых сел. Но им не удалось этого добиться, так как им мешали бродячие казачьи шайки и сами местные крестьяне. Смоляне и их соседи, делившие с ними изгнание, сами предложили свои услуги устроителям нижегородского ополчения. Выросшие в пограничной области и все время с 1607 г. принимавшие участие в военных действиях, притом на стороне Шуйского, служилые смоляне, пришедшие в Нижний в числе 2.000 человек, одновременно с Пожарским, приблизительно в самом конце октября 1612 г., послужили основным ядром будущей рати. Это было, однако, лишь первым шагом. Состоявшееся в Нижнем ополченское правительство с Пожарским во главе, стало в начатое дело втягивать соседние уезды. Нижний постепенно делался центром движения целой огромной области. В Нижний свозили деньги; сюда же съезжались выборные люди для совета. Около 1-го декабря из Нижнего были разосланы окружные грамоты в Поволжье и на север; в них довольно ясно обрисовывались задачи, какие предстояло разрешить нижегородскому ополчению. В грамотах мы находим извещение, что «все города Московского государства утвердились крестным целованием, чтобы быть всем в любви и соединении, прежнего междоусобия не начинать, и Московское государство от врагов, от польских и литовских людей очищать неослабно до смерти своей, и своим произволом на Московское государство государя без совета всей земли не избирать, а как Всесильный Владыка помилует и избавит нас от польских и литовских людей, и нам бы просить Его, чтоб дал на Московское государство государя благочестивого, подобного прежним природным государям»[70]). Начать военные действия предполагалось с очищения Суздальского края, куда проникли из-под Москвы литовско-польские отряды в поисках провианта и фуража и, как выше уже говорилось, теплого платья.

Вести об образовании нового ополчения и зачатков временного правительства в Нижнем не могли не дойти до Москвы. Они должны были произвести одинаково сильное впечатление и на сидевших в Кремле, и на казачьи таборы, расположенные под Москвой. Под давлением Гонсевского и Салтыкова с сообщниками, бояре были отправлены требовать от заточенного патриарха, чтобы тот своим словом остановил нижегородские замыслы; «он же, новый великий исповедник,—говорит летописец,—сказал им: да будут благословенны те, кто идет на очищение Московского государства, а вы, окаянные московские изменники, будьте прокляты»[71]). Ответом была смерть великого подвижника, скончавшегося 17-го февраля 1612 г. от голода в подземелье под храмом Чуда Архангела Михаила, и смертью своей запечатлевшего свое служение вере и родине. Казаки, особенно их главный

вождь Заруцкий, были не менее кремлевских сидельцев обеспокоены тем, что подготовлялось в Нижнем. Заруцкий думал предупредить нижегородцев захватом Ярославля, что отдало бы в его руки верхнее Поволжье и пути на север. Это заставило Пожарского и Минина двинуться в поход несколько ранее, чем, кажется, предполагалось, и в свою очередь предупредить замыслы Заруцкого. В феврале передовые отряды ополчения вступили в Ярославль; в начале марта, по зимнему еще пути, двинулись в путь вдоль Волги и главные силы. Поход из Нижнего в Ярославль был настоящим торжественным шествием: встречи, поднесения даров, присоединение новых отрядов, денежные взносы,—все доказывало сочувствие верхнего Поволжья нижегородской рати.

Занятие Ярославля было большим успехом Пожарского и Минина; если бы их врагами были только одни поляки и их московские приспешники, то, может быть, ополчение довольно скоро появилось бы и под Москвой. Но действия Заруцкого и признававших его власть казаков ясно показывали, что казачьи подмосковные таборы — враг не менее опасный, нежели Гонсевский, кремлевские правители и сам Сигизмунд. Потерпев неудачу в своих прямых замыслах, Заруцкий и подчинившийся ему во всем Трубецкой вздумали было вновь воскресить в третий раз тень царевича Дмитрия и присягнули «псковскому вору», не то Сидорке, не то Матюшке, которого некоторые современники называют дьяконом из Москвы «из-за Яузы»; Сидорка не задолго перед тем провозгласил себя в Пскове царем Дмитрием Ивановичем. Тогда из московских таборов выехали к Пожарскому, а отчасти разъехались по домам, последние бывшие там с прошлого года остатки земской рати.

Поведение Заруцкого и печальная судьба Ляпунова достаточно указывали, как осторожно надо было относиться к стоявшему под Москвой казачеству; надо было обезопасить себя от него; вот первая причина долгого стояния ополчения в Ярославле. Оттуда, действуя, как всегда, осмотрительно и осторожно, Пожарский рассылал отряды, теснил казачьи шайки и постепенно суживал те области, на которые Заруцкий мог опираться и где черпали провиант подмосковные таборы. Успех увенчал старания воеводы: чувствуя, как из-под его ног уходит почва, Заруцкий не стал дожидаться Пожарского под Москвой и, после неудачных попыток войти в сношения с поляками, отступил в июне месяце, точнее, почти бежал на юг в Коломну, где была в то время Марина Мнишек, и далее, вместе с нею, через Михайлов на Украйну. С ним ушла из-под Москвы самая непримиримая часть казачества, те атаманы, вроде Просовецкого, и те казаки, которые не понимали и не признавали государственного порядка, и только умели его разрушать.

Остались в таборах наиболее умеренные с князем Трубецким во главе; с этими вождям нижегородского ополчения возможно было поладить.

Другой задачей ополчения во время его стоянки в Ярославле было создание настоящего временного правительства. За образец были взяты меры, принятые в 1611 году Ляпуновым; но то, что сделали в Ярославле, было много основательнее и шире. Когда сюда подошли земские ополчения севера и подъехало много народа из-под Москвы, ополчение могло действительно чувствовать себя «всей землей». Вокруг Пожарского составилось, во-первых, правительство, совет начальников, соответствовавшей Боярской Думе, и совет всего ополчения, как бы подвижной Земский собор. Как и в 1611 году, были учреждены приказы и устроено управление всей страной, на которую распространялась власть ополчения.

В Ярославле был поставлен, но не был решен, также вопрос о будущем царе. Сначала, в апреле были разосланы окружные грамоты по городам, где запрашивали о совете, «как в нынешнее конечное разорение быть не безгосударными, чтобы нам по совету всего государства выбрать государя, кого нам милосердый Бог даст»[72]). Вопрос ставился как бы пока только в общей форме. Но скоро пришлось дело иметь с настоящим кандидатом на престол и притом опять иноземцем — принцем Карлом-Филиппом шведским. Его выдвинули новгородцы, действуя под давлением занимавших Новгород шведов. Отклонить притязаний шведского королевича было нельзя, ибо это значило нажить нового сильного врага, когда все силы должны были быть обращены на старых; нельзя было и признать их, потому что мысль о царе иноземце перестала встречать какое бы то ни было сочувствие. Целых два месяца ушли на трудные переговоры, которые правительство Пожарского вело с большим умением; конечный ответ был тот, что русская земля готова принять Карла-Филиппа, но королевич должен прежде всего приехать в Новгород и принять православие. Однако, Карл-Филипп не спешил исполнить желание ярославских властей, а события между тем шли так быстро, что вопрос о царском избрании пришлось решать в Москве ранее, чем шведский принц прибыл в русские пределы. Совершенно случайно в деятельность вождей ополчения в Ярославле вплелось еще одно маленькое происшествие. Через Ярославль возвращалось из Персии посольство германского императора. Пожарский отправил с ним далее бывшего на русской службе немца-переводчика с грамотой, где изложены были все неправды польского короля. На словах говорено было о возможности приглашения в Москву брата императора — эрцгерцога Максимилиана. Тем дело и кончилось.

Когда год спустя был получен от императора благосклонный ответ, царь Михаил Федорович был уже на престоле.

Ополчение тронулось в Москву, когда, во-первых, был временно разрешен вопрос о шведском королевиче, во-вторых, были обессилены и подорваны подмосковные шайки, тянувшие к Заруцкому, в-третьих, ополчение и временное управление страной были окончательно устроены и, наконец, в-четвертых, когда в Ярославле узнали, что на помощь кремлевскому польскому гарнизону идет сильный отряд литовского гетмана Хоткевича. Пожарский и Минин двинулись к Москве в июле; все ополчение собралось под ее стенами к 20-му августа. У нас нет возможности точно определить его численность; сводя вместе все известия, которыми мы можем располагать, следует думать, что силы нижегородского ополчения, когда оно двинулось от Ярославля, должны были превышать 20.000 человек. В громадном большинстве они состояли из земских людей, т.-е. из дворян, посадских людей и свободных крестьян русского севера.

Под Москвой ополчению предстояло разрешить все те же две задачи: поладить, или, во всяком случае, обезопасить себя от стоявших под столицей казаков и освободить город от польского гарнизона, помешав прежде всего проникновению в Кремль войск Хоткевича, подошедших к Москве почти одновременно с Пожарским. Казаки Трубецкого искали с самого начала примирения с земским ополчением, но Пожарский отклонил предложение Трубецкого, стать с ним рядом между Яузскими и Покровскими воротами и стал отдельно у Арбатских ворот, загораживая путь Хоткевичу, подступавшему к Москве по Смоленской дороге. Отношения далеко не были выяснены, когда пришлось отражать натиск Хоткевича. 22—24-го августа были решительными днями; литовский гетман употреблял все усилия, чтобы прорваться в Кремль сначала вдоль Москвы-реки от Новодевичьего монастыря, потом, переправившись на другой берег реки. Два раза земское ополчение, не поддержанное Трубецким, слабело. Современник и участник событий, троицкий келарь Авраамий Палицын, красноречиво рассказывает, как ему пришлось убеждать казаков подать помощь Пожарскому. Любовь к родине взяла верх, и решительное вмешательство казаков 24-го августа дало победу русским. Но и после этого прошли еще три недели, пока «по челобитью и по приговору всех чинов людей» оба ополчения окончательно договорились между собою. Вождями объединенных сил были избраны: боярин князь Трубецкой, стольник князь Пожарский и выборный человек Кузьма Минин. Военные учреждения и приказы были соединены вместе на Трубе, на реке Неглинной.

Дальнейшие события развивались довольно быстро. Польский гарнизон состоял из двух полков—Будилы и Струся. Гонсевский уехал еще до прихода Пожарского к Москве, сильно уменьшившихся в числе от недостатка пищи и болезней; однако, на предложение Пожарского сдаться, они отвечали отказом. Осада продолжалась еще более месяца; осажденные с трудом поддерживали себя провиантом, который им доставляли извне москвичи, не гнушавшиеся служить врагам. 22-го октября казаки, поддержанные ополчением, овладели Китай-городом. С этой минуты были сочтены и часы Кремля; завязались переговоры, и 26-го польский гарнизон сдался: полки Струся—казакам, полки Будилы—земцам. Казаки перебили почти всех своих пленников; погибли и некоторые из тех, кто сдался земцам. Сдались вместе с поляками также и сидевшие в Кремле приверженцы Сигизмунда, за исключением некоторых, например, боярина М. Г. Салтыкова, еще ранее успевших бежать к королю; вышли из Кремля и седьмочисленные бояре, полузниками выдержавшие осаду вместе с поляками.

1-го ноября Москва торжественным крестным ходом праздновала свое освобождение. Когда была взята Москва, Сигизмунд находился на походе в русскую столицу и уже дошел до Волока-Ламского. Известия о его приближении вызвали большое беспокойство. Однако, у самого Сигизмунда было слишком мало сил, чтобы бороться с русскими полками, несмотря на то, что последние стали сильно таять после окончания московской осады. От Волока-Ламского Сигизмунд повернул обратно, так и не увидав Москвы, в которой он так упорно хотел воцариться. В Москве вновь вздохнули свободно, готовясь приступить к следующей очередной задаче—создать окончательный и прочный государственный порядок в разоренной и истомившейся стране.

VII

Конец смуты.

Прочный и постоянный государственный порядок рисовался всем русским людям, собравшимся в Москве осенью 1612 года, в совершенно определенном виде. На Московское государство надо избрать царя «государя благочестивого, подобного прежним природным государям»[73]). Московское царство должно было оставаться монархией: иного образа правления не представляли себе и в мыслях: нам без государя нисколько быть невозможно. Да и ни в которых государствах нигде без государя государство не стоит»[74]). Однако, по вопросу о том, какова должна была быть эта монархия и кто должен стать царем, долгое время не могли притти к полному согласию. Причиною этого было, во-первых, то, что за время смуты успели несколько измениться взгляды на царскую власть, а, во-вторых, что те, кто призваны были волею судеб решать вопрос о царском избрании, принадлежали к кругам русского общества, которые успели очень далеко разойтись между собою за истекшие перед тем десять лет.

Выше уже было указано, что прежние представления о твердой царской власти, едва ли не более древней, чем сама русская земля, стали незаметно со времени смерти Федора Ивановича уступать место совсем новым мыслям о царе, который правит при участии своих подданных. Исходя от тех же бояр, которые затеяли смуту, мысли эти постепенно шли по общественной лестнице вниз, проникая в более широкие круги. Мы видели в свое время, что представляла собою запись Василия Шуйского: это не было настоящее ограничение власти государя, но, добыв подкрестную запись, бояре были уже на пороге закрепления своей старой мечты о договорных отношениях с царем. Новые мысли о власти царя тогда же нашли себе яркое выражение в словах послов, князя Волконского и дьяка Иванова, говоривших, что и прирожденному царевичу Дмитрию не усидеть бы на престоле, «если бы его на государстве не похотели»[75]). Самозванцы не мало способствовали разложению воззрений на царскую власть: не первый Лжедмитрий, который стоит головой выше всех ложных царей и царевичей, а Тушинский Вор, псковский вор Сидорка или Матюшка, Лжепетр, действовавший вместе с Болотниковым, и другие, промелькнувшие в смуту и прикрывшиеся чужими имс-

нами проходимцы. Их не уважали, ими помыкали и, признавая их, по крайней мере наружно, государями, никто никогда не думал, что власть этих государей могла бы быть не только неограниченной, подобно власти царя Ивана Васильевича, но сколько-нибудь действительной настоящей властью правителя. Словом, облик царя у людей, обращавшихся вокруг самозванцев, незаметно поникал и бледнел и превращался в опошленный призрак. Свою долю в изменении взглядов на царскую власть внесли переговоры о приглашении царей из иноземцев—Владислава и Карла-Филиппа; переговоры эти были настоящим рядом, торговлей: приглашавшие предъявляли ряд условий, требовали обязательств и обещаний и настаивали на своих требованиях даже тогда, когда не могли поддержать их силой.

Однако, наряду с совсем новыми, до смуты не известными взглядами на царя, сохранялись, и притом с большой устойчивостью, старые привычные мысли о государе, «подобном прежним природным государям». В противоположность царям-выкочкам вроде Шуйского, он должен быть «излюбленным», т.-е. правильно избранным, всею русскою землей; в противоположность самозванцам, он должен быть «прирожденным», т.-е. таким, у которого есть права на престол, даваемые ему его происхождением, и, наконец, он должен быть своим, русским, в противоположность намеченным царям-иноземцам, приглашение которых (я разумею королевича Владислава) оказалось одной из самых неудачных затей Смутного времени. Мысль о таком национальном, всей землей «излюбленном» царе, кажется, мелькнула впервые, когда устойчивая и домовитая северно-русская земщина шла освобождать Москву под начальством Скопина-Шуйского; но герой похода 1609—1610 г.г., первый прообраз будущего национального русского царя, рано сошел в могилу. Второе ополчение—Ляпунова и третье Пожарского и Минина—не имели готовых кандидатов на престол, которых можно было бы сравнить со Скопиным-Шуйским. Но в переписке земских миров и в грамотах обоих ополчений постоянно встречаются напоминания о великом деле, которое должно завершить патриотический подвиг освобождения столицы: «на Московское государство выбрать государя всею землей российской державы», «подобного прежним природным государям» «из своих прирожденных бояр, а иных земель иноверцев не хотеть»[76]).

Когда столица была действительно освобождена, оба взгляда, старый и новый, должны были столкнуться, потому что в Москве осенью 1612 года встретились и столкнулись приверженцы и представители того и другого.

Тех, кто был в Москве в ноябре и декабре 1612 года и интересовался строительством русской земли после великой разрухи, ею перенесенной, можно разделить прежде всего

на пришедших освобождать столицу и на жителей Москвы, ими освобожденных. В свою очередь освободители распадаются на земское ополчение и казаков, а среди жителей Москвы—я, конечно, имею в виду только тех, кто принимал участие в политических делах — были бояре, принявшие призрак власти после свержения Шуйского, и были сменившие их у власти беззастенчивые дельцы, действовавшие именем короля Сигизмунда. Правда, иные из них, быть может, самые крупные, вроде боярина Салтыкова и дьяка Грамотина, успели бежать до прихода Пожарского, но среди сдавшихся 26 октября было все же немало людей и этого склада. Всем помянутым сейчас слоям и группам пришлось теперь искать общего языка, пришлось волей и неволей действовать вместе, вариться в одном котле. Немудрено, что дело не сразу пошло гладко. Русские ополчения никогда, ни до смуты, ни во время ее, ни после, не отличались прочностью, и способностью долго сохранять сплоченность и дисциплину; к тому же земские люди востока и севера были очень утомлены после почти годового непрерывного пребывания в походе. Понятно, поэтому, что детей боярских и крестьян, шедших под Москву вслед за князем Пожарским и Кузьмою Мининым, неудержимо потянуло домой, как только их первая непосредственная задача была выполнена. Уже в конце ноября ополчения в Москве оставалось очень немного, гораздо меньше, во всяком случае, чем казаков, которых в то время считали до четырех с половиною тысяч. Те, кто все же оставался, были, конечно, в деле общеземского строительства и в вопросе о выборе царя представителями наиболее старинных охранительных взглядов и составляли ядро, тянувшее к своим прежним вождям—Пожарскому и Минину. Казаки, продолжавшие, по имени по крайней мере, признавать своим вождем князя Трубецкого, вновь получили, благодаря убыли земского ополчения, очень большое влияние. Мы уже знаем, что это не были самые крайние слои казачества: те ушли из-под Москвы еще летом; с князем Трубецким остались только сравнительно умеренные, которые не совсем чужды были общеземским стремлениям к спасению родины. Все же это были казаки, т.-е. мало дисциплинированные члены шаек, для которых благо родины и теперь еще оставалось слишком тесно связанным с наполнением их собственных карманов за счет беззащитных обывателей. Их нельзя было распустить, потому что им некуда было уйти: дома, оседлости у них не было; нельзя было их и разослать на службу в другие города: слишком они были ненадежны. Самое их содержание зимою 1612—1613 годов было источником больших забот и больших неприятностей для подмосковного населения, уже много успевшего натерпеться: за недостатком припасов в самой Москве казакам отводили какую-нибудь

волость или обширные вотчины того или иного монастыря, где им предоставляли производить реквизицию съестных припасов, фуража для лошадей и даже шуб. Волей-неволей даже Пожарский и Минин должны были следовать примеру Заруцкого и Трубецкого. Вот эти-то люди, беспокойные и беспокоившие других, получив снова временный численный перевес, старались оказывать влияние на общегосударственные дела и поднимали вопрос о государе еще до созыва Земского собора. Современники передают, что они «примеривали в цари», с одной стороны, молодого Михаила Романова, и с другой, покровительствуемого ушедшим на юг атаманом Заруцким «воровского Калужского», т.-е. маленького сына Марины Мнишек. Сохранились известия, что среди больших бояр и после окончания московской осады не умирала мысль о царе Владиславе Жигимонтовиче. Но бояр в это время мало кто слушал. В отношении к ним господствовало двоякое настроение: их прежнее поведение в годы смуты, их властолюбие и надменность не способствовали их популярности, а их, правда, по большей части невольное, сидение в осаде вместе с поляками заставило многих подозревать их в слишком большой близости к Гонсевскому и Салтыкову с товарищами. С другой стороны, усталые, измученные от осады бояре внушали жалость и сочувствие, как можно думать сводившее на-нет первоначальное чувство недоверия к ним. Впрочем, многие из бояр, напр., князь Ф. И. Мстиславский, выйдя из осады, разъехались из Москвы по своим вотчинам. Возможно, что им хотелось отдохнуть от перенесенных лишений; возможно также, что отъезд их был вызван желанием на время укрыться от недоверчивых взглядов, какими смотрело на них московское население. Из ставленников и сторонников Сигизмунда некоторые, как мы уже знаем, успели бежать, другие, наиболее замешанные в злодеяниях и хищениях, вроде Федора Андронова, были арестованы сейчас же по сдаче Кремля; о них велось следствие; попытка бежать не спасла Андронова от заслуженной им судьбы, и вместе с некоторыми из своих товарищей он был казнен еще до приезда в столицу избранного царя. Более мелкие и менее заметные люди этой группы постарались как можно скорее отмежеваться от прежних друзей и примкнуть, как это всегда делают бессовестные люди, к стороне, взявшей верх. Они не выделялись слишком ярко, но занимались происками за спиной других, стараясь главным образом обеспечить свое благополучие при устанавливавшихся новых порядках. Как бы то ни было, в Москве сошлись люди разных взглядов, разных настроений, с разным прошлым, и хотя мысль о приведении страны в порядок и об избрании царя преобладала у всех, однако, ни одна из различных групп, нами сейчас очерченных, не была достаточно сильна, чтобы получить решительное преобладa-

лие над другими. Вот почему и до Земского собора, и во время его занятий в Москве не было согласия и спокойствия; «не могли все на одного согласиться, одни хотели одного, другие другого, все говорили разное и всякий хотел учинить по своей мысли, и так провели не мало дней»[7]). Таков отзыв современника-летописца о московских спорах, происках и разговорах. Такова была обстановка, в которой пришлось действовать временному правительству, образовавшемуся летом в Ярославле и теперь продолжавшему свою деятельность в столице. До сентября это были «по избранию всяких чинов людей Московского государства у земских и у ратных дел стольник и воевода князь Дмитрий Пожарский с товарищи»; теперь во главе его стояли бояри князь Д. Т. Трубецкой и тот же Пожарский. Расположившись в Москве, они принялись налаживать управление общегосударственное и местное: устраивали приказы, назначали воевод, вели борьбу с многочисленными шайками, без устали продолжавшими грабить русскую землю, а главное, старались собрать в пустую государственную казну подати, которые давно все отучились платить, которые не желали вносить даже те, кто не был ограблен и лишен своего достояния.

Однако, главной заботой временного правительства был созыв Земского собора, державная учредительная власть которого должна была дать государству не новое устройство, а государя, «без которого нисколько не возможно было быть». Дело, без того сложное, затруднялось постоянными перерывами сношений, опасностями от везде сновавших грабителей и разбойников. Намеченный на 6-е декабря собор замедлился созывом, и по всей вероятности был открыт только около 20 января 1613 года. Это был самый многочисленный и самый полный из Земских соборов, созывавшихся до тех пор в Московском государстве; он был многолюднее, чем собор 1598 года, избравший Бориса Годунова; со случайными приказными соборами, которые якобы избрали Василия Шуйского и Владислава, его нечего и сравнивать. По самым тщательным и подробным подсчетам, число его членов должно было быть немногим менее тысячи человек: сюда входили некоторые члены Боярской Думы, представители духовенства, столичного и провинциального, средние и низшие придворные и столичные чины, представители московских посадских людей, выборные почти от всех городов и уездов, за исключением только тех, которые были заняты иностранными войсками или захвачены Заруцким. Выборные от городов центральной России состояли, главным образом, из дворян и детей боярских; от севера и востока прибыли те самые посадские люди и свободные, крепкие, домовитые крестьяне, которые так много способствовали избавлению Москвы. Упоминаются также уездные люди, т.-е. крестьяне некоторых

южных уездов, напр., Серпейского, Новосильского, Брянского. Так как в то время там уже не было свободных крестьян, то из приведенного известия делали нередко вывод, что на соборе 1613 года присутствовали крестьяне вообще, т.-е. не только свободные, или «черные», как тогда говорили, но и жившие на владельческих землях и в то время уже сильно зависевшие от помещиков. Но известия все же слишком кратки и отрывочны; поэтому сказать наверно, были ли на соборе представители владельческих крестьян, мы все-таки не можем. Это—предположение, которое нельзя решительно отвергнуть, но нельзя и подтвердить.

Уже выше говорилось, как различно должны были быть настроены люди, думавшие об избрании царя. Среди приехавших на собор было много и таких, которые, будучи твердо, даже слепо убеждены, что царя избрать необходимо, совершенно не знали, кто может быть достойным кандидатом в государи. Вот почему не сразу был найден человек, на котором все сошлись и согласились; вот почему «многое волнение было всяким людям, каждый хотел по своей мысли делать, каждый про разных говорил»[78]). О ком же могла итти речь на соборе, как о будущем русском царе?

О членах домов, мимолетно занимавших русский престол после смерти царя Федора Ивановича, говорить не приходится: Шуйские давно потеряли былую привязанность московского населения; они были кроме того все в плену, и если имя бывшего царя Василия и было названо на соборе, то разве лишь одинокими голосами, не нашедшими отклика. Не думали, конечно, и об остатках Годуновых, рассыпанных и развеянных после 1605 года. Кандидатуры иностранных принцев были решительно отвергнуты в первые дни после открытия собора, когда было принято соборное решение: «литовского и свейского короля и их детей за их многие неправды и иных никоторых земель людей на Московское государство не обирать, потому что литовский король Московское государство разорил, а свейский король великий Новгород взял обманом»[79]). Вполне понятно, что так скоро и решительно была отвергнута мысль о подтверждении избрания королевича Владислава; уж очень беззастенчива и коварна была политика его отца по отношению к Московскому царству; уж очень много зла сделали русской земле разные выходцы из Польши вроде Сапеги, Лисовского, Ружинского и других. Наконец, у самых искренних сторонников сближения с западным соседом едва ли могла сохраниться надежда, что 16-летний королевич вырвется из-под опеки отца и на самом деле приедет в Москву. Труднее было принять подобное же решение относительно шведского королевича Карла-Филиппа, об избрании которого сам же Пожарский вел такие тонкие переговоры в Ярославле. Говорят, что и в Мо-

скве Пожарский оставался сторонником воцарения Карла-Филиппа, но с ярославских переговоров прошло много времени: королевич, несмотря на обещания, собирался в Россию столь же туго, как его двоюродный брат и соперник Владислав. У русских, между тем после освобождения Москвы руки были гораздо свободнее, чем полгода назад в Ярославле. И вот верх взяли противники избрания шведского принца. Когда, около времени созыва собора, из Новгорода от начальника шведских войск Якова де-ла-Гарди приехал посол Богдан Дубровский, ему было отвечено: «того у нас и на уме нет, чтоб взять иноземца на Московское государство, а что мы с вами ссылались из Ярославля, и мы ссылались для того, чтобы нам в те поры не помешали, а как Бог Московское государство очистил, и мы рады с вами за помощью Божией биться и итти на очищение новгородского государства»[80]). После такого ответа вполне понятно и последовавшее за ним соборное решение. Заодно с иностранными принцами отвергли и неприемлемую искони для русской земщины мысль об избрании «воренка», «и Маринки с сыном не хотеть»[81]), читаем мы в том же соборном постановлении.

В Московском государстве издавна были на службе татарские «царевичи», напр., касимовские, отцы которых выехали когда-то из Орды и стали подданными Московского государя. Почетный титул, который они носили, заставил и о них поговорить на соборе; но кому могла притти мысль на самом деле сделать царем касимовского или сибирского царевича? Если их титул заставил поднять о них речь, то только для того, чтобы решительно их отвергнуть.

Раз все нерусские кандидаты в цари были отведены, то оставались свои, люди боярской среды. О них и должна была итти речь на соборе. Можно думать, что собор обсуждал или мог обсуждать вопрос об избрании вождей освободительного ополчения: Трубецкого и Пожарского, бояр князя Воротынского, князей Василия Васильевича и Ивана Васильевича Голицыных, князей Ф. И. Мстиславского, наконец, стольника Михаила Федоровича Романова.

Боярина князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого выдвигала казачья среда еще до собора, но ни прежняя деятельность самого князя, ни положение этого тушинского боярина среди московского боярства не могли обеспечить за ним большого числа сторонников. Стольник и воевода князь Пожарский принадлежал к захудалому роду и не был боярином; по всему, что мы о нем знаем, он был лично скромным человеком, который не мечтал о царском венце для себя. Самое известие о его притязаниях, гласящее вдобавок, что он истратил 20.000 рублей на подкуп членов собора,—известие позднее и ненадежное,—исходит от человека, имевшего к Пожарскому личные и притом малоосновательные притязания

едва ли князь Пожарский был серьезным кандидатом и едва ли его имя собрало бы очень много голосов. Князь Иван Михайлович Воротынский занимал одно из первых мест среди боярских родов в смуту и до нее. В годы междуцарствия он кривил душою менее других; его имя было почтенным именем, но Воротынские никогда не были близки к старым московским царям, а личные заслуги князя не были достаточно великими, чтобы, опираясь на них, он мог достигнуть царского престола. Князья Мстиславские и Голицыны не были потомками Рюрика; их предки происходили от великих князей литовских; однако, благодаря брачным союзам знатных литовских выходцев с московским княжеским домом, братья Голицыны оказывались прямыми потомками в седьмом колене великого князя Василия Дмитриевича, а князь Мстиславский—правнуком Ивана III. У того и у другого были прямые связи с угасшими прирожденными государями. Однако, многое говорило и против них: Мстиславский всегда считался малодаровитым и ничтожным человеком; его робкое поведение и уступчивость в годы междуцарствия уронили его еще более в общественном мнении. Впрочем, Мстиславский и сам никогда не изъявлял притязаний на престол: и в 1606 г. и, кажется, вторично, в 1610 г. он даже отказался от возможного избрания. Личность князя Ивана Голицына заслонялась личностью его старшего брата—князя Василия, бывшего в то время в плену в Польше. Князь Пожарский называл Василия Васильевича «столпом». Он, действительно, был таким. С начала смуты его имя постоянно встречается среди самых видных, хотя и далеко не самых почтенных деятелей смуты: его измена решила участь царя Федора Борисовича, вместе с Шуйским он свергнул Лжедмитрия, а позднее вместе с Ляпуновым свел и Василия Ивановича. Энергичный и властный человек, но в то же время коварный и неискренний, он сумел сохранить большое влияние среди московских бояр, что и было, вероятно, причиной, почему гетман Жолкевский удалил его из Москвы, отправив его вместе с Филаретом Романовым в посольство под Смоленск. Но как избрать человека, который томился в плену во враждебном государстве? Да и согласились ли бы иметь царем кого-нибудь из Голицыных или князя Мстиславского представители спасшей Русь земщины, в глазах которой большое московское боярство так уронило себя в годы смуты? Наконец, и Мстиславский и оба Голицыны были бездетны, и притом в летах, что ставило ребром трудно разрешимый вопрос о продлении царского рода.

Оставался последний возможный кандидат—16-тилетний юноша, Михаил Федорович Романов. Хотя и не княжеского происхождения, род Романовых-Захарьиных-Юрьевых давно стоял в первых рядах московской знати. С угасшим

царским домом его соединяло свойство, и хотя в жилах Михаила Федоровича не было крови прежних московских царей однако, память о родственных узах, соединявших Романовых с царями Иваном и Федором, должна была еще сохраниться. Хоть и не случайной была опала, наложенная царем Борисом на братьев Романовых, но она была слишком жестокою, а перенесенные страдания, во всяком случае, не соответствовали вине: когда из пяти братьев вернулись только двое, на этих, разбитых нравственно и физически людей стали смотреть, как на безвинных жертв годуновского произвола. Недавняя, и многим еще памятная, связь Романовых со старой династией и облик мученичества должны были привлекать к ним сочувствие земщины на избирательном соборе. Конечно, дело шло не о главе семьи: невольный инок, потом митрополит, и даже нареченный патриарх, Филарет Никитич, не мог занять престола; да и слишком силен и властен был этот человек, тень которого заметна во всех событиях смуты от 1598 года до отъезда его в великое посольство: у него должно было быть много врагов, и его кандидатура, если бы она могла быть поставлена, вызвала бы, конечно, отпор. Но у Филарета был сын, наследник и продолжатель рода, к которому перешли все светские права отца. К нему-то и шло сочувствие заседавших на соборе. Недаром, по сохранившемуся известию, предложение об избрании Михаила исходило от дворянина, который «предложил на соборе выпись о родстве царском, как благочестивый царь Федор Иванович, отходя от сего света, вручил свой скипетр и венец двоюродному брату своему боярину Федору Никитичу»[82]). Но за Михаила Федоровича Романова должны были стоять на соборе не одни представители земщины. Привезенный в Тушино пленником, его отец стал там своим, и притом большим человеком. Наиболее умеренные из бывших тушинцев, не сочувствовавшие «воренку», и все умеренное казачество должны были поддерживать не кого иного, как сына нареченного тушинского патриарха, которого казаки примеривали в цари еще в ноябре 1612 г. Летописец рассказывает, что одновременно с галицким дворянином 7-го февраля предложил избрать «природного государя Михаила Федоровича» также атаман донских казаков[83]). Противоположные друг другу во всем, галицкий дворянин и донской атаман сходились на одном избраннике на царство, потому что он был одинаково близок и земщине, в обширном смысле этого понятия, и казакам, ранее действовавшим в Тушине.

Для больших московских бояр М. Ф. Романов должен был также быть наиболее желательным кандидатом. Хотя бояре и плохо вели дела Московского государства, но они все

еще считали себя силой и не теряли надежды сохранить прежнее влияние при новом царе. Для этого удобнее всего был царь без личного авторитета, молодой и неопытный, каким на самом деле и был М. Ф. Романов. «Выберем Мишу Романова: он молод, разумом не дошел и нам будет повадек»[84],—писал боярин Ф. И. Шереметев боярину князю В. В. Голицыну в Польшу. Подтвердить вполне подлинность этих слов мы, к сожалению, не можем, но они могли быть сказаны, потому что их смысл вполне соответствовал интересам боярского круга. Молодой царь, почти ребенок, не мог сейчас же стать опытным и энергичным правителем, а его властный отец мог ведь и не вернуться из плена, как действительно, не вернулся из него князь В. В. Голицын. Было еще одно обстоятельство, которое должно было остановить внимание бояр именно на М. Ф. Романове: распадаясь на отдельные кружки, сталкивавшиеся, что избрание Михаила Федоровича не было случайбояре самых различных направлений в отношении имено Михаила Романова были объединены тесным родством с ним. достаточно сказать, что из так называемых «седьмочисленных» бояр четверо: И. Н. Романов, кн. Б. М. Лыков, Ф. И. Шереметев и сам князь Ф. И. Мстиславский — прямо или по своим женам приходились ему дядями и ли двоюродными братьями. А про Ф. И. Шереметева мы достоверно знаем, что он очень усиленно хлопотал об избрании царем Михаила. Так, выясняется, что избрание Михаила Федоровича не было случайностью. Именно он должен был быть избран на царство, потому что из всех возможных избранников он был, по положению своей семьи среди тогдашнего русского общества, по деятельности его отца и по своим личным свойствам, самым приемлемым и желанным царем.

Около трех недель продолжалась избирательная борьба; 7-го февраля М. Ф. Романов был намечен, 21-го февраля последовало его окончательное избрание при участии вызванных в Москву бояр, с князем Мстиславским во главе. Собор был единогласен в своем решении, которое было объявлено московскому народу с Лобного места на Красной площади. С этой минуты закончились полномочия временного правительства Трубецкого и Пожарского: с 26-го февраля грамоты и указы стали писать уже от имени «государя царя и великого князя Михаила Федоровича».

По словам летописца, новый царь был «в то время у себя в вотчине»[85]. Сейчас же после избрания к новому царю поехало торжественное посольство, которое 14-го марта нашло его вместе с матерью, инокой Марфой Ивановной, в Ипатьевском монастыре, близ города Костромы. Очень вероятно, что вотчиной, о которой говорит летописец, было село Домнино, расположенное в Костромском уезде, принад-

но, будущий царь с матерью отправился туда на отдых и поправку после освобождения из Кремлевской осады, которую он должен был выдержать вместе с другими представителями московской знати. Повидимому, ко времени от 21-го февраля по 14-е марта или вообще к первым месяцам 1613 г. надо относить событие, не слишком важное само по себе, но яркое и характерное. В настоящее время его можно считать вполне выясненным и сомневаться в нем уже не приходится. Все Московское государство было полно казачьими станицами и шайками интернациональных искателей приключений, грабивших все, что было возможно. Последствия разлития смуты в народных массах продолжали сказываться в полной мере; очищение земли от грабителей и разбойников было еще впереди. Такие «воровские станицы», несомненно, были и в Костромском уезде. Весть о том, что новый царь избран, должна была распространиться очень быстро; скоро узнали, что этот царь находится или еще недавно находился в своей вотчине, в незащищенном селе. Отсюда естественное желание «воровских станиц» захватить нового государя; для простых воров он мог быть предметом выкупа; если эти воры были польскими выходцами, то захват и, может быть, даже убийство Михаила стали бы ответом на отвержение Владислава. И вот, в Домнино, откуда незадолго до того выехал новый царь, быть может, сознательно искавший защиты в крепком Ипатьевском монастыре, явился воровской отряд, по преданию состоявший из «литовских людей». Староста Домнинской вотчины, крестьянин села Деревниц, Иван Сусанин, который в силу того именно, что был старостой всей вотчины, должен был знать, куда выехал Михаил Федорович, отказался сообщить его местопребывание, а под рукой отправил своего зятя Богдана Сабинина предупредить царя о грозившей ему опасности. За это он был замучен и убит «ворами» по одному рассказу—в лесу, куда он завел врагов, будто бы взявшись их провести к царю, по другому—и, кажется, более вероятному,—среди села Домнина, в назидание и на страх домнинским крестьянам. Подвиг домнинского старосты не остался незамеченным: в 1619 году Михаил Федорович наделил дочь и зятя Сусанина землею и навсегда освободил их от уплаты податей, или, как тогда говорили, «обелил» их: преемники его неоднократно подтверждали его пожалование. В последний раз оно было подтверждено в 1837 году.

14-го марта боярин Ф. И. Шереметев и рязанский архиепископ Феодорит поднесли Михаилу всенародное избрание. По словам летописца, и сам государь и его мать сначала со слезами отказывались от опасной чести, выпавшей на долю молодого человека, ссылаясь на его юность и на разорение страны, так что «едва его, государя, умолили»[86]).

2-го мая новый государь торжественно вступил в Москву; его венчание на царство происходило 11-го июля. Как мы не знаем многих подробностей в работе Земского собора, избравшего царя, так мы не знаем и всех тех переговоров, какие имели место в первые месяцы его царствования в тени его престола. Можно, во всяком случае сказать одно: ни бояре, ни бывшие тушинские дельцы, ни другие лица, принимавшие участие в событиях Смутного времени, не могли забыть записи царя Василия Шуйского и двух договоров об избрании Владислава 4/14-го февраля и 17/27-го августа 1610 г. Царские обещания и царские обязательства были делом слишком недавним, могли казаться завоеваниями слишком заманчивыми, чтобы не оставить места попыткам закрепить их и при новом царе. Многим могла совершенно естественно притти мысль, что Михаила хорошо было бы связать подобными же обещаниями и обязательствами. Об этом должны были много говорить; вероятно, кое-что предпринято было, чтобы от слов перейти к делу. Может быть, к молодому царю обратились негласно и негласно же просили подтвердить то, что сказано было в договоре с Владиславом, или по крайней мере в подкрестной записи Василия Шуйского. Можно думать и другое: от имени Земского собора могло быть представлено царю челобитие, просьба исполнить то, что обещал Василий и чего требовали от Владислава. До нас не сохранилось ни одного правительственного документа, который хотя бы намеком говорил о каких-нибудь обязательствах, принятых на себя Михаилом при воцарении, или тем более о каких-нибудь ограничениях его власти; но об этом сохранялись хотя и смутные, но упорные предания, крепко державшиеся до XVIII столетия. Политические обычаи, установившиеся в смуту, показывают, что мысль связать Михаила обязательством, обещанием или хотя бы только просьбой, обращенной к нему, могла легко возникнуть. Но, с другой стороны, дворянская и крестьянская земщина шла в Москву, чтобы получить царя, «подобного прежним государям», и об ограничениях его власти думала мало, потому что все несчастия обрушились на нее именно при новых договорных царях. В 1613 г. боярство потеряло свое былое значение, а удержавшимся близ власти дельцам, заключавшим договор под Смоленском, приходилось приспособиться к новым течениям. Голоса сторонников договора с новым царем должны были глухо звучать и на соборе и вокруг него, и поэтому негласное обещание править с боярами или же согласие на челобитие собора быть мягким в опалах было пределом возможного в тех разговорах, которые велись с царем о его власти весною 1613 года.

VIII.

Смута и современники. Их действия и думы.

Оглянемся назад и посмотрим на людей Смутного времени, тех, которые действовали, тех, которые размышляли, и тех, которые испытывали на себе тяжкие проявления и последствия великой разрухи. Как ни смотреть на жизнь целого народа и целой страны эта жизнь есть все-таки сложенная вместе жизнь множества отдельных людей: люди живут, страдают и радуются; наиболее сильные и энергичные участвуют в ходе событий, и иногда направляют их; другие следят за ними, переживают их в душе и силятся объяснить самые замечательные из происходящих вокруг них явлений. А за действующими и размышляющими расстилаются народные массы; они, обычно безмолвствующие, порою приходят в резкое и сильное волнение. Смутное время,—мы хорошо это видели,—именно время таких волнений, но есть мгновенья,—особенно часто они бывают перед началом сильных потрясений или сейчас же после них,—когда народные массы, точно пораженные чем-то, как бы застывают в напряженном безмолвии и удивлении, ища причины происходящего вокруг. Подобные явления также можно не раз наблюдать за десять лет Смутного времени.

Сознательными зачинщиками смуты были московские бояре: именно они из своекорыстных кружковых выгод, чтоб свалить ненавидимого ими царя Бориса, воскресили тень царевича Дмитрия и затеяли первого самозванца. Что же за люди были московские большие бояре? С некоторыми из них нам пришлось уже познакомиться по мере развития рассказа о Смутном времени. Самыми способными людьми этого круга были, конечно, два соперника, тягавшиеся за престол в 1598 году,—Борис Федорович Годунов и Федор Никитич Романов. Борис, несомненно, один из лучших русских царей, но, в своей отчаянной борьбе с боярами, он не смог изыскать иных средств, как те, которыми ранее пользовался царь Иван Васильевич. Очень ярок и интересен также и боярин Федор Никитич, потом инок, митрополит и патриарх Филарет; оттесненный Борисом он, быть может, более всего повинен в превращении юноши Григория Отрепьева в царевича Дмитрия Ивановича. Если это так, то конечно, злоба и оскорбленное самолюбие сделали его великим преступником перед родиной. В постигшем его не-

счастья боярин Романов держался с достоинством, а в речах опального инока Филарета, подслушанных соглядатаями в Сийском монастыре, чувствуется большое сердце и сильная душа: «Милые мои детки, маленькие, бедные остались, кому их кормить и поить? А жена моя бедная, наудачу уже, дети, как их помянешь, ино что рогатиной в сердце толкнула ли? Мне уж, что надобно? Лихо на меня жена да нет. Дай Бог слышать, чтоб их ранее Бог прибрал, и я бы тому обрадовался, а чаю, жена моя и сама рада тому, чтоб им Бог дал смерть, а мне бы уж не мешали, я бы стал промышлять одной своей душою»[87]). Бог, однако, не услышал мольбы опального инока; остались живы и он и его семья, и могучая фигура Филарета, хотя и навсегда отлученная от престола духовным саном, заметна во всех дальнейших событиях смуты. Поссорившись с Шуйским, он попадает в тушинский стан сначала пленником, но потом в качестве нареченного патриарха делается одним из самых влиятельных лиц воровского стана. Положение его было очень двусмысленным; чувствуется, что громадное самолюбие, ненависть к Шуйскому и любовь к власти заставляли его действовать вместе с тушинцами и до времени мириться со всем, что он видел вокруг себя. Его заветною мечтою в это время было, вероятно, возведение на престол сына Михаила; и хотя наружно он с начала 1610 года выставлял себя сторонником Владислава, но гетман Жолкевский, повидимому, отлично знал, что делал, стараясь отправить Филарета послом к Сигизмунду. Он вернулся в Москву девять лет спустя, испытав новое тяжелое заточение, в течение которого держал себя с большим патриотическим достоинством, и последние 14 лет своей жизни был настоящим русским государем, правя страной именем своего мягкого и податливого сына. «Божественное писание отчасти разумел, нравом опальчив и мителен, а властен был так, что и сам царь его боялся: бояр и всякого чина людей царского синклита томил заключениями и иными наказаниями, всякими же царскими и ратными делами владел»,—так говорит о нем современник[88]). Управление Филарета имело много хороших сторон; чтобы бороться с последствиями разрухи, чтобы держать в узде всех прежних деятелей смуты, потом устроившихся при новом царе, нужна была именно властная и сильная рука государева отца, упорно пробиравшегося к верховной власти с 1598 г., со дня смерти его двоюродного брата, царя Федора и, наконец, достигшего ее. В этом, очень умном, но далеко не мягком человеке, чувствуется настоящий родоначальник царственного дома давшего России Петра Великого.

И Борис и Федор Никитич, бесспорно, самые интересные представители боярства и такие, в которых положи

тельные черты господствуют над отрицательными. Если мы прибавим к ним князя М. В. Скопина-Шуйского, сверкнувшего мимолетным лучом, но сумевшего привлечь к себе народную любовь, заслужить личную любовь в народе, так редко выпадавшую на долю русских политических деятелей, да еще честного Д. М. Пожарского, которого, впрочем, лишь отчасти можно причислить к большой боярской среде, то этим мы исчерпаем почти весь запас положительных деятелей из бояр.

Зато какое обилие отрицательных! Вот прежде всего царь Василий Иванович Шуйский, всегда хитривший, всегда вилявший, лгавший Годуновым, Лжедимитрию и, под носом других бояр, захвативший в 1606 году царский престол. Вот как описывал его хорошо знавший его современник: «Царь Василий образом нелеп, в книжном учении достаточен и в рассуждении ума очень смышлен; очень скуп и не податлив. Единственно благосклонный к тем, кто шептал ему в уши ложь про людей, их он с веселым лицом принимал и власть их слушал, а о войске своем не радел»[89]). Скрягой и блудником называли в Москве старика-царя, не сумевшего завоевать себе ни популярности, ни твердого положения. Уклончивый и слабый по отношению к сильным, Василий даже и в то жестокое время заслужил репутацию жестокости своими расправами над низшей братией, которую он казнил «сажанием в воду». И закончил он свое царское поприще заподозренный в более чем тяжком преступлении, в непоправимой и неизвинимой глупости,—как соучастник в отравлении племянника, единственной опоры его престола. Рядом с Василием Ивановичем стоит его достойный сотрудник в деле низвержения названного Дмитрия и его соумышленник в свержении Федора Борисовича—князь Василий Васильевич Голицын. Тот, кого князь Пожарский называл «столпом»,—на самом деле был присяжным изменником, беспрестанно нарушавшим присягу, вероятно, в тех же целях, какие руководили действиями Ф. Н. Романова и Василия Шуйского: пробраться на московский престол, занять его и насладиться властью, несмотря на ее умаление и на опасности, с ней сопряженные. К той же боярской знати принадлежал боярин Михаил Глебович Салтыков-Морозов, покрививший душой в 1605 году под Кромами против Годуновых, покрививший душой против Шуйского, будучи воеводой в Ивангороде, где он «пакости делал» Скопину[90]). Салтыков—видный тушинский боярин и, наконец, верный слуга короля Сигизмунда, поднимавший нож на великого патриота и безжалостного старика патриарха Гермогена и осыпавший его самою грубою и отвратительною бранью. Один из виновников голодной смерти патриарха, Салтыков был предметом особенной ненависти русских людей, не отрекшихся от своей

родины. «Некто от того же сонма, злоначальный губитель Промысла Божия, достойно называть его злым человекоядным волком—и ныне он дышит и шипит как скорпион и, не переставая, крамолы воздвигает»[91]). Только своевременный отъезд, почти бегство, из Москвы спасло боярина Салтыкова от достойного возмездия. А вот еще один представитель той же боярской среды,—Петр Никитич Шереметев. И он в 1605 г вместе с другими шел на Годуновых, заявив под Ливнами, что трудно воевать против природного государя; в июне 1605 года мы видим его в покаянной депутации, поехавшей звать названного царя в Москву, запятнанную кровью Федора Борисовича. Подозрительный для Шуйского, он был назначен воеводой во Псков, где ознаменовал свое правление неправдами, грабежами и обидами. «Крестьян мучил, в полон брал, и на мзде великой отпущал»; во Пскове «мастеровые люди делали на него всякое рукоделие». Его управление было «наполнено мздоимания и грабления всякого»[92]). Он был одним из главных виновников в псковских смутах, пока расправа черни не прекратила его жизни.

Если такими были представители высшего круга, предъявлявшего исторически преемственные притязания на власть, люди, несомненно, наиболее развитые, наиболее затронутые цивилизацией, то чего же ждать от других деятелей смуты, в частности, чего же ждать от выразителей народного гнева, от представителей Украйны, вооружившихся за воскрешенного Дмитрия и вновь поднявшихся на богатых и сильных вместе с Болотниковым? Непривлекательна картина, которую рисует нам очень беспристрастно настроенный летописец-современник: «Петрушка вор, который назвался царевичем, с Дона пошел на Путивль, и в те времена убили по городам бояр и многих воевод и дворян различными муками мучили: иных с башни кидали, иных с моста в ров, иных вверх ногами вешали, иных по стенам распинали, ноги и руки гвоздями прибив, расстреливали из ружей. Князя Андрея Бахтеярова, бывшего в то время воеводой в Путивле, убили, а дочь его тот вор Петрушка взял к себе на позор на постелю»[93]).

То, что позволял себе вор Петрушка, делали и другие воры—тушинский, разные Матюшки и Сидорки, делали их сподвижники и помощники, делали и вдохновители, приводившие в движение эти жалкие куклы. Особенно дурную память оставил по себе атаман и боярин И. М. Заруцкий, захожий на Москву галичанин из Тарнополя. О заезжих польских людях говорить не приходится: их целью, иногда для приличия затушеванной фразами о рыцарских подвигах, был простой грабеж, и поэтому все сколько-нибудь крупные деятели смуты из числа польских выходцев, начиная с Сапеги и Лисовского, должны быть отнесены к числу самых отри-

нательных деятелей того времени, всеми своими поступками и делами внедрявших смуту в русскую землю. По мере того, как смута разливалась по русской земле, крупные и мелкие ее участники и вожди, распатывали страну, приведя ее в состояние, которое так картинно описывают некоторые челобитья того времени: «Мы, архимандриты, и протопопы, и попы, и дворяне, и дети боярские в Юрьевском уезде от ратных, от загонных людей и от польских казаков и от татар разорены и животишки наши все разграблены и церкви Божии все разорены, Божие милосердие, образы, ободраны и переколоты, и всякое церковное строение захватили и животину всякую, лошадей и рогатую животину загонные люди повыгнали и хлебишко весь перемолотили и повывезли»[94]). «Приезжают к нам сиротам твоим твои государевы ратные, загонные люди и женишек наших и дочеришек берут на постелю насильно и позорят, а иные девки и женки со страху по лесам в нынешнюю зимнюю пору от стужи померли»[95]). Так протест обиженных низов против сытых верхов вырождался очень быстро в обыкновенный, ничем не прикрытый разбой, от которого наряду с другими страдала та же меньшая братия, крестьяне. Вождями поднявшихся с самого начала смуты низов, были или самозванцы, боярские ставленники, или проходимцы, прикрывавшиеся самыми различными именами, только для того, чтоб обеспечить себе успех в грабежах и разбоях, или же, наконец, иностранцы, только о грабежах и думавшие. Если боярство почти не выделило положительных типов, то восставшие низы не выделили их и вовсе; нет возможности исключить из этого правила и воеводу Болотникова, о личности которого мы имеем слишком неясное и туманное представление.

Развиваясь и идя вглубь, смута создавала своих собственных героев, ею выдвинутых и ею питаемых. Их рассадником было Тушино; расцветом их деятельности были подвиги кружка, захватившего власть в конце 1610 года и вершившего дела от имени и в пользу короля Сигизмунда. В этой среде бесполезно искать положительных деятелей; все они—враги и расхитители родной земли. С одним из их вождей, «человекоядным волком», Сапегой, мы уже хорошо знакомы. Другим был тушинский думный дьяк Курбатов-Грамотин, «пан Иван Тарасьевич», как обычно величал его Гонсевский[96]), внешностью своей напоминающий, по словам современников, иностранца. Бежав вместе с Сапегой из Москвы, Грамотин работал в ближайшие годы для короля, что, однако, не помешало ему потом снова вернуться в Москву и занять в ней видное место в числе советников царя Михаила Федоровича. Но, быть может, самым типичным человеком этой среды был Федор Андронов, московский торговый человек, кожевник, с 1609 г. состоявший в

числе думных бояр тушинского вора, а в 1611—1612 г.г. государственный казначей, главный воротила в Москве и расхититель царской казны. Крепко не любили патриоты Салтыкова; еще бо́льшую ненависть заслужил Федька Андронов: «за бесчисленные грехи наши чем нас Господь не смиряет и каких казней не посылает, и кому нами владеть не повелевает. Сами видите, кто он таков—не человек и неведомо кто, ни от царских родов, ни от боярских чинов, ни от иных избранных ратных голов; сказывают—от смердовских рабов. Его окаянного и треклятого по его злому делу не достойно называть во имя Стратилата*), но во имя Пилата, и не во имя преподобного, но во имя неподобного, и не во имя страстотерпца, но во имя землеедца, и не во имя святителя, но во имя мучителя, разорителя и губителя веры христианской. И прозванием его, также не достойно называть его по имени святого**), но по имени нужного прохода людского «Афедронов». Таким знаменитым государством владеет он, как морем колеблет; что хочет, то делает и никто ему не возбранит. А наши земледержцы и правители точно ослепли и онемели, лучше сказать не смеет ни один из них, воспрепятствовать этому злодею. Он в царскую казну въелся и губит великое царское сокровище, много лет собиравшееся великими князьями и царями; он все хочет истребить, расточить и погубить и оставить царскую казну, как пустую и ненужную храмину. И великие сокровища супостату нашему врагу королю посылает»[97]).

Таковы были сознательные проводники великой разрухи: бояре, вожди украйного люда и казаков, самозванцы, иностранные проходимцы, бессовестные себялюбцы, готовые для своих выгод отступиться от своего родного и заветного. Но ведь не только из подобных людей состоял русский народ, который в конце концов нашел в себе силы спастись от разрухи и гибели. Против проводников смуты и разрушителей ее тояла всегда стремящаяся к покою народная масса, первой мыслью которой всегда бывает, как бы избавиться от излишних и ненужных беспокойств, как бы сделать так, чтобы смута ее миновала. Лишь постепенно в ней совершается перелом, понемногу она разбирается в сущности и в причинах смуты, и в ее сознание входит мысль, что только с оружием в руках она может вновь завоевать похищенное у нее спокойствие и вернуться к мирному труду в освобожденной и возрожденной родине.

Первая мысль, которую можно уловить в спокойном еще и безмолвствующем народе в начале смуты, когда названный царевич Дмитрий вторгнулся в пределы Московского государства, было недоумение, скоро перешедшее в крепкое

*) Свят. муч. Федор Стратилат.
**) Т.-е Андронов.

убеждение, что против законного государя итти нельзя. В самом начале смуты в 1604 г. распространилась в Смоленске молва о том, что «придет прямой царь» и замутились умы смолян; пошла «шатость», «говорили, пошептываясь посадские люди: только-де и будет прямой царевич Дмитрий, и им против него и стоять нечего, а только будет-де и не прямой царевич, вор, и мы рады помереть против него»[98]). То же чувство, мы уже видели, заставляло разбегаться и слагать оружие служилых людей, отправляемых против Лжедмитрия. Когда названного царя убили, то и это событие вызвало в народе, особенно вне Москвы, недоверие и недоумение, которое много облегчило появление позднейших самозванцев. Между тем новые удары сыпались на русскую землю. Долго принимали их молча те, кто не хотели смуты и надеялись, что она пройдет мимо них, что они спасутся, если не будут принимать в ней участия. Уже после воцарения Шуйского вздыхали о старом времени: «русские жалели о Борисе и охотно согласились бы видеть его на престоле»[99]). Припомним еще раз тех вологжан, которые, слушая тушинские грамоты об учете и реквизиции их товаров, промыслов и хозяйственных припасов, «ничего не сказали», а только плакали, мечтая о том, чтобы их законный государь, царь Василий Иванович, одолел своих врагов и выручил их. Так думали, может быть, наиболее терпеливые и спокойные; они надеялись втайне, что законная власть когда-нибудь освободит их от напасти. Другие, более затронутые вихрем смут, более впечатлительные, по мере развития событий раздражались, даже больше — развращались. Особенно это можно наблюдать, когда наступают большие стеснения. Так случилось, например, с московским населением в «царя Васильево московское осадное сидение», когда столицу обложили тушинские таборы. Уже в самом начале, из боязни лишений, потянулись из Москвы «перелеты»: «не помня крестного целования отъезжали к вору боярские дети, стольники, стрячие и дворяне московские, и жильцы, и дьяки, и подьячие»[100]). По мере того, как осада становилась тяжелее, началась в Москве «хлебная дороговь великая, покупали четверть ржи за 7 рублей». Московские жители волновались, «на царя Василия приходили шумом: докудова в осаде сидеть и такого голода терпеть?»[101]). Именно на почве утомления и раздражения наиболее впечатлительных жителей столицы происходили московские народные волнения, которыми так богато царствование Шуйского. То, что было в Москве, наблюдалось и в других городах; глухое раздражение, проявлявшееся и резкими словами и действиями, возрастало по мере того, как жизнь становилась тяжелее. Очень интересные наблюдения можно сделать над жителями осажденного Сигизмундом Смоленска. Чем более дают себя чувствовать тяготы осады, чем далее отходят воспоминания о прежней спокойной жизни,

тем чаще в посаде слышатся недовольные голоса, сетующие на судьбу и на властей с боярином Шеиным во главе и готовые свести при случае счеты с власть имущими, в которых по близорукости видят главный источник своих несчастий. Уже в феврале 1610 года, на пятом месяце осады, на посадского человека Ивана Тиринова донесли, что он говорил: «Только-де боярин и воевода Михайло Борисович Шеин не станет держаться одного слова, и он-де от них будет без головы, а какого слова, того не ведает», однако, доносивший. Немного позднее, в апреле, донесли на служку Аврамьевского монастыря, будто бы распространявшего такие речи: «Новгородцы и псковичи давно б сдались», «говорят новгородцы и псковичи, заупрямились-де одни смольняне, а у нас бы давно тихо было. Слышал я у добрых людей, вознесся-де Смоленск под небеса, а опустился до ада и до пестрой собаки, а нам все равно, кто бы на царстве ни сидел». Прошло еще несколько месяцев, жить стало еще тяжелее, и вот новые речи, более резкие, чем прежде: «Воцарился-де Михайло Борисович ныне в Смоленске, также что Болотников в Туле, и Болотников-де смерти на себя дождался уж, а Михайло-де Борисович того не ведает, что над ним в Смоленске будет. Коли-де не боярское время будет, а наше время, тогда-де нам боярин ничего не сделает». Роптавшие говорили, «что за хлеб за свой на боярине возьмут за бодну меру по четверти». В том же ноябре 1610 г., когда Шеина приравнивали к Болотникову, бывшие в составе гарнизона боярские люди, т.-е. холопы дворян Смоленского уезда, говорили, «что им-де в осаде сидеть мочи нет, пить и есть нечего, и в осаде им не сидеть больше и за мужиков не биться», и «боярские люди посадских людей учнут сечь. Шеин нас губит с посадскими людьми, королю и королевичу крест не целует, а ждут вора с Москвы. И мы Шеина, схватив, выдадим за стену, будет он в Польше с Шуйским же, а посадских людей побьем, а добро их пограбим»[102]).

Однако, народные думы не выражались только покорным молчанием и мятежными речами; наиболее вдумчивые довольно рано начинают спрашивать себя, что́ происходит вокруг, где причина и источник ударов, падающих один за другим на Русь? Головокружительная смена событий, всеобщие потрясения заставляли их видеть во всем таинственное вмешательство свыше. С 1606 года стали распространяться рассказы о видениях, бывших в Москве и в других городах; смысл их всегда один и тот же: небесные силы разгневались на русскую землю и наказывают ее за грехи. Осенью 1606 г. «некий благочестивый муж» видел в московском Успенском соборе, как Божья Матерь и Иоанн Креститель упрашивали Христа пощадить грешный русский народ; Христос отвечал: «Много раз хотел Я помиловать, о, Мать, моя, но они раздражают утробу Мою всещедрую своими окаянными и по-

стыдными делами, а потому изыди, Мать Моя, из храма этого и все святые с тобою. А Я предам их кровоядцам и немилостивым разбойникам, пусть понесут наказание малодушные и придут в чувство, и тогда Я их пощажу». Только после многих повторных просьб Богоматери Христос «тихим голосом сказал Ей: ради Тебя, Мать Моя, пощажу их, если покаются»[103]).

Итак, грех вызывает наказание, а пощада придет, если будет покаяние. Несколько месяцев спустя новое видение в Архангельском соборе. Стоявшие у собора ночью сторожа рассказывают, будто «у архангела Михаила, где благоверные великие князья лежат, начался шум и говор велик. голосов с 20 или с 30», сначала кто-то читал за упокой, потом раздался смех, «и один-де изо всех голос толст, а против него говорили все встречно», а один все продолжал говорить по-книжному за упокой»; наконец, «весь храм озарился светом и смех перешел в плач. Сторожа, объятые «страхом и ужасом великим», хоть и заглядывали в замочные скважины, однако, так и не могли рассказать, как принимали участие в общем горе русской земли почившие благоверные князья[104]). Особенно много рассказов о чудесных видениях падает на последние, самые тяжелые годы смуты; силы небесные неизменно указывают на греховность Руси, прямо или косвенно призывая к покаянию и исправлению. Одними из последних были нижегородские видения — преподобного Сергия Козьме Минину и другое — нижегородской посадской жене, вызвавшие пост и покаяние в подготовлявшем ополчение городе.

Где бы мы не встечали попытки разобраться и объяснить себе положение дела и вникнуть в существо его, везде выступает мысль о грехах русского народа и о наказании, которое Господь навел на русскую землю. Смута — наказание за грехи всего народа; вот глубокая дума, более того, убеждение, которое западает в душу русских людей. Еще загадкой звучат слова рассказов о первых видениях; но именно эта мысль ясно выражается в уже известных нам земских грамотах, которыми возбуждали и поддерживали друг друга земские миры в 1608—1612 г.г.: «Божиим изволением, грех наших ради» случилось разорение Ростова в 1608 г.[105]). «Восплачем перед Господом, сотворившим нас, если Он пощадит и помилует, если отвратит от нас свой праведный гнев, наложенный на нас по праведному суду», пишут смоляне в 1611 г.[106]). Еще ярче и яснее, ярче чем где бы то ни было, чувство греха и наказания за него проводится в сказаниях, составленных в смуту и после нее, в которых люди сознательно переживавшие события, пытались изобразить и передать потомству, то, чему они были свидетелями. Один из них, глубокомысленный дьяк Иван Тимофеев, служивший в московских приказах и в Новгороде Великом, описывает

родную страну, погруженную в смуту, как дом скончавшегося вельможи, оставившего вдову «безответную, безглавную плачевную, беспомощную»: дом расхищают рабы, и рабы эти русские люди. «Мужественной крепости нет в нас от давна», говорит он,— в будущем за погубленное нами мы должны будем предстать пред Богом безответными ответчиками, мы — не чужой, а нашей земли разорители, сами губители своей родины». Мы довели нашу землю до пучины, почти поглотившей ее в смуту; Бог приводит к спасению, «за благо милуя и храня, за нечестие же милостиво наказуя» «иногда гладом, иногда пожарами, иногда нашествием безбожных и междоусобной бранью». «Мы согрешили от головы до ног, и такой грех не может ничем очиститься, кроме огня и меча, что и совершилось в дни наши». Грехов наших очень много, но едва ли не главный из них — это равнодушие к общему благу и малодушие перед испытаниями; «от наших грехов рассыпалась наша земля? не бессловесного ли ради молчания?» [107]). Именно в этом усматривает великий грех русской земли и другой писатель Смутного времени — троицкий келарь Авраамий Палицын: «За всего мира безумное молчание, за то, что мы не смогли говорить царю истину о неповинных погибели, омрачил Господь небо облаками и столько дождя пролилось, что все люди впали в ужас» [108]). И кара будет продолжаться, пока земля не понесет возмездие: «еще гнев Божий не укротился за множество грехов всей земли, ибо сказано: не престанет ярость моя на вас, пока не истреблю вас» [109]). Так определяет положение третий писатель, родственник Романовых, князь Катырев-Ростовский.

Где же выход? Как замолить грех, как сделать себя вновь достойными милости Божией и тем спасти русскую землю? Опять-таки не покорным тупым молчанием и не мятежным волнением, а соединением в любви к родине и в общей работе на ее спасение. Стоять всем «за один», вот к чему, как мы в свое время видели, призывали земские грамоты; об этом же неустанно говорили вожди первого и второго ополчения, говорили и грамоты Троицкого монастыря, рассылаемые архимандритом Дионисием: «А если, господа, вы с нами вместе не соединитесь и за государство Московское не станете, и над Московским государством конечное разорение учинится, то Бог взыщет на вас» [110]). «Быть нам всем православным христианам в любви и в соединении, помнить общее свое, а если нашим нерадением учинится конечное разорение Московскому государству и угаснет корень христианской веры, то какой ответ дадим в страшный день суда Христова?» [111]). «Бога ради положите подвиг своего страдания, чтобы вам всему народу, всем православным христианам быть в соединении» [112]). «А если вы с нами и со всею землей не будете в соединении, за то все взыщет Бог

на вас, да и окрестные все государства назовут вас предателями своей вере и отечеству»[113]).

Однако, самое яркое выражение мысли о необходимости соединения всех для одной цели - спасения родины — мы найдем в одном, к сожалению, безымянном и совершенно особняком стоящем, памятнике. В самом конце 1610 или в первые дни 1611 года на улицах Москвы поднято было подметное письмо, мы бы сказали теперь прокламация, очень пространная, но полная такого сильного чувства, что ее и теперь нельзя читать равнодушно. Ее автор не называет себя по имени—он светский человек, вероятно, какой-нибудь приказный дьяк, быть может, крупный заметный человек; он близок к Салтыкову и другим королевским ставленникам. Он говорит, «что грехом своим великим и слабостью и славою мира сего прельстился и к ним, к врагам прилепился» и «ныне у них зело пожалован». «Ясно,— продолжает он,— мне нельзя от них отстать», но душой он не может быть с ними, он обличает врагов русской земли с удивительной силой и страстностью, он просит верить его словам и призывает верных сынов Руси восстать на ее спасение под духовным водительством патриарха Гермогена. Мы уже приводили его резкие отзывы о боярине Салтыкове и Федьке Андронове; приведем еще несколько мыслей талантливого и искреннего незнакомца, обличая себя, призывавшего русских людей стать за русскую землю. «Государи, порадейте о себе. Вооружитесь на общих супостатов наших. Постоим вместе за православную веру, и за святые Божии церкви, и за свои души, и за свое отечество, и за достояние, которое дал нам Господь! Поревнуем городу Смоленску, как в нем наша же братия православные христиане сидят и великую скорбь и тесноту терпят! Сами знаете, с какого времени сидят. Если бы таких крепкостоятельных городов в Российском государстве хоть и немного было, неповадно было бы входить в нашу землю нашим врагам». Особенно ненавидит автор тех, к кому официально принадлежал сам — доброхотов «злонравного злого супостата-короля»; к ним он причисляет и «бояр земледержцев наших и правителей, ныне же лучше сказать кривителей» и других, кто «растлились умами своими и захотели прелести мира сего работать и в великой славе быть, а иные, недостойные имени людей, достигнув высоких санов, и оттого от Бога отпали и хотят злодея нашего короля на наше великое государство посадить». Они еще не успели этого достигнуть, но если король «за грехи наши» возьмет Москву, то всех погубит и всех покорит. Указывая на доблесть смолян, автор призывает «подивиться и удивиться пастырю нашему и учителю—имя его всем ведомо», — разумеется патриарх Гермоген, — как он, подобно «столпу непоколебимому», стоит один против всех «землесъедцев». Гермоген

и Смоленск — вот те два защитника России, которые держат короля «ни за голову, ни за ноги, ни за руки, но за самое злонравное и жестокое сердце». «Придите, православные, мужайтесь и вооружайтесь, старайтесь против врагов своих. Не выдавайте спасителей наших — там города, а здесь общего нашего пастыря». Патриарх один; бояре отступились от него: «наши земледержцы, а по настоящему землесъедцы, те давно от него отстали и государское свое положение переменили на рабское служение, горше же всего учинили, что нас всех выдали». «А вы, православные, не помогаете патриарху ни в чем». «Если теперь стерпим, время промедлим и сами от себя погибнем. Что стали? чего оплошали? чего ждете и врагов своих на себя попущаете и злому змию даете время в земле укореняться и распложаться подобно горькой полыни?». Неужели притеснение и гнет иноземцев в Москве «вам не весть, не повеление, не нравоучение, не закон? Еще скажу: за бесчисленные грехи наши чем нас Господь не смиряет и каких казней не посылает?»[114]).

Покаяние во грехах и единение против врага — вот общий призыв, вот единственный исход из состояния полной гибели, к которому пришла русская земля. И призыв не остался без отклика. Земщина, спокойная средина общества, свободное крестьянство, посадские, провинциальные дворяне, соединенными усилиями спасли родину, взбаломученную боярскими сварами, потрясенную поднявшимся с низов безначалием и почти порабощенную иностранцами. Из земщины в самом обширном смысле выделилось больше всего положительных деятелей, которые своими трудами восстановили порядок в России. Земщина была Минина, к ней, больше чем к боярам, надо относить другого героя ополчения 1612 г., князя Пожарского; к ней принадлежал и Прокопий Ляпунов. Мы едва ли очень ошибемся, если признаем, что лучшие представители духовенства, так много сделавшие в смуту для родной земли — люди вроде Гермогена или архимандрита Дионисия — также должны быть причислены к той здоровой середине русского общества, из недр которой вышло спасение погибавшей страны. И земщина в первые годы смуты думала, что «будет послышим, что Бог пошлет гнев свой праведный на всю русскую землю, но еще до нас далеко»[115]). Но, пройдя через великие испытания, она дошла до сознания, что надо «Московскому государству вспомогать и быть всем вместе и против польских и литовских людей от воров заодно стоять»[116]). Именно она, земщина, сначала молчавшая, потом роптавшая, задумалась, нашла источник народных бедствий и несчастий, сообразно своему пониманию и духовному развитию, наметила путь к спасению, встала и спасла свою родину. Мы уже знаем, как произошло это спасение.

ГЛАВА IX

Смута в народном хозяйстве.

Пронесшаяся над русской землей буря не обошлась без тяжелых последствий, которые давали себя чувствовать очень долго. Небо рассеялось, но земля хранила немало следов перенесенного бедствия. Да, нужно сказать, что последние тучи еще продолжали бродить по небу немалое время. Не раз, на страницах нашего рассказа, нам приходилось говорить о подвигах воровских шаек, казачьих станиц, заглянувших людей, грабивших и опустошавших Московское государство. Они разлились по земле вместе со смутой в 1607—1608 гг., продолжали свою деятельность при Шуйском и в междуцарствие, безразлично, из кого бы они ни состояли — из выходцев из Литовско-Польского государства, бродячей вольницы с южных окраин или русских воров местного происхождения. Одной из таких шаек, как мы уже знаем, пришло в голову даже захватить избранного царя Михаила в его костромской вотчине. Словом, когда Михаил Федорович Романов принял из рук Земского собора царский венец, предел опустошений, нанесенных стране Смутным временем, далеко еще не был достигнут. Политические волнения и опасность потерять национальную самостоятельность благополучно миновали, но потрясения в народном хозяйстве, заметные еще задолго до смуты и отчасти ее подготовившие, были еще очень далеки до своего конца. Не только юг, ранее всего сделавшийся добычей грабителей, не только западные и северо-западные области,- пространство от Смоленска к Москве и Новгородский край — но и то, что называлось тогда Замосковным краем, историческое ядро государства — местности вокруг столицы и к северу от нее, и даже часть северных или, как их называли, поморских уездов, тех самых, которые приняли столь деятельное участие в освобождении Москвы, были в руках воровских скопищ. «Пишут к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси из замосковных и из поморских городов воеводы и приказные люди, что собрався пришли в Замосковье и поморские города воры казаки многие люди и в уездах по селам и по деревням, и по дорогам емлют у детей боярских и гостей и торговых, и уездных всяких людей, где кого найдут, побивают до смерти и животы грабят, и села и деревни жгут, и соборов к городам приступают и к Мо

скве ни с чем не пропускают и тесноту Московскому государству чинят великую»[117]). Все первые годы Михаила правительство ведет борьбу против воровских шаек, но одерживая частные успехи, оно нескоро достигает своей конечной цели. В частности, особенно много хлопот причинил новому московскому правительству один из самых видных воровских вождей польского происхождения Лисовский. Напрасно гонялись за ним лучшие воеводы с Пожарским во главе; прогнанный из одной местности, он каким-то чудом точно из-под земли, вырастал в другой, отдаленной от первой иногда на сотни верст; только смерть избавила Россию от этого опасного и неуловимого врага. Немало труда стоило также одолеть Зарунского, блуждавшего по юго-восточным областям, пока его не захватили, наконец, в 1614 году, вместе с злополучной Мариной и с ее сыном на далекой юго-восточной окраине Московского государства. А вот примеры, показывающие, что делали воровские станицы и как продолжали они свою работу над разорением страны. В 1613 году литовские люди, предводимые Гонсевским, опустошил Торопец с уездом. В 1615 году литовские люди стояли под Вологдой 18 недель, опустошая весь край. В 1619 г. в Ярополческую волость Владимирского уезда*), «перед Покровом пришли черкасы (малорусские казаки) и крестьян многих посекли, а после черкас пришли казаки и стали в Вязниковской слободке станом». С казаками соединились крестьяне соседних вотчин князя Д. М. Пожарского и «люди», т.-е. холопы, муромских и гороховецких детей боярских «да Ярополческую волость разорили[118]). В Углицком уезде обширная волость Кезьма запустела совершенно: в ней не осталось ни одной населенной деревни. Особенно прочно воровские шайки засели в Бежецком и Устюженском уездах, на границе между Новгородским краем и Замосковьем: к Новгороду не пускали их шведы, к Москве—правительственные войска, стянутые в 1614 и 1615 г.г. под Ярославлем и Кашином. Не лучше дело обстояло и в ближайших окрестностях столицы: «на Троицкой земле, на Хотькове был монастырь, а ныне стоит церковь Покрова Пресвятой Богородицы, да на монастыре 26 мест келейных поросших; да на Троицкой же земле был монастырь Богородицкий под Сосеньем, на речке на Торгоше, разорен от литовских людей»[119]). На западе писцы, описывавшие в 20-х годах Зубцовский уезд, не могли даже найти 268 пустошей, заросших и затерянных после литовского разорения. Прежний удельный город Тверского княжества Микулин перестал существовать и превратился в городище, в котором уцелела одна только церковь архангела Михаила Пострадало и Поволжье: по словам игумена Чебоксарского монастыря, вольные казаки захватили город, прежнего игумена скинули с башни посад-

*) Ныне Вязниковский уезд, Владимирской губ

ских людей побили и казну ограбили. Даже Нижний Новгород, никогда никем не разграбленный, оплот порядка, родина Кузьмы Минина, все же не вышел невредимым из смуты: он обеднел, и в 1620 годах когда-то богатые нижегородские посадские люди почти все считались «молодшими» и «худыми». Они беднели и разорялись.

Очень много сведений для суждения об ударах, нанесенных смутой народному хозяйству, могут дать описания громадных земельных владений Троице-Сергиева монастыря, богатейшего вотчинника России, произведенные, во-первых, в 1592—1594 г.г., т.-е. до смуты, во-вторых, в 1614—1616 г.г., сейчас же после окончания смуты политической, но еще в разгаре смуты хозяйственной и, в-третьих, в 1620-х г.г., когда становятся заметными первые признаки наступающего в народном хозяйстве улучшения. Приблизительное пространство, занятое этими вотчинами, доходило до 200.000 десятин, не считая громадных неизмеримых лесных пространств. Большая площадь Троицких вотчин делает надежными и наблюдения, которые можно над ними сделать. Вот прежде всего общие данные: в 1592—1594 г.г. в них было в круглых цифрах 21 тысячи дес. пашни и 60 тыс. десятин перелогу, т.-е. пашни запущенной; в 1614—1616 г.г. пашни оставалось всего 1500 десятин, а перелогу числилось более 80.000 десятин; в 20-х годах пашня успела возрасти до 15 тысяч десятин; перелогу, не считая безнадежно заброшенного, все еще считали свыше 50.000 десятин. Известиям о состоянии пашни соответствуют и известия, касающиеся населения: в 1592—1594 г.г. в троицких вотчинах было 3.988 дворов крестьянских и 502 двора бобылей, т.-е. крестьян обедневших, большей частью, по недостаточности даже не имевших пашни; в 1614—1616 г.г. их было соответственно 623 и 426 дворов; в 20-х годах крестьян было 1.536 дворов, бобылей 1.199. К общим цифрам прибавим несколько подробностей: в троицких вотчинах Звенигородского уезда в 1592—1594 г.г. числилось 29 селений, а в 1616 г. не оставалось ни одного; в Рузском уезде исчезли за этот промежуток все 15 селений; в Верейском с 21 число их опустилось до 6, в Ярославском с 61 до 23. Крестьянское население уменьшилось за смуту приблизительно в 7 раз; рост сельских бедняков-бобылей, число которых продолжало непрерывно расти и в 20-х годах, также надо считать за яркое проявление хозяйственной смуты и за ее тяжелое последствие. Данные о состоянии троицких вотчин в 20-х годах указывают на признаки только что начинающегося улучшения. Общий уровень все еще гораздо ниже уровня 1592—1594 г.г., но и пашня и население уже заметно увеличились сравнительно с 1614—1616 г.г. Совсем иное впечатление получается при ознакомлении с общим состоянием троицких вотчин в двух уездах—Владимирском и Юрьево-Польском, где они

были описаны не в 20-х годах, а в 40-х. Сравнительно с 1592–1594 г.г. население в них успело возрасти с 848 душ до 1.318. Увеличилась и пашня: вместо 5.500 десятин в 1592–1594 г.г., мы находим в 40-х годах уже 7.800 десятин. В общем, раны Смутного времени были здесь залечены и общее хозяйственное состояние данной местности стало даже лучшим, нежели в конце XVI века. Общее хозяйственное состояние троицких вотчин очень слабо улучшалось между 1614–1616 г.г. и 20-ми г.г., наоборот, видимо, быстро пошло в гору начиная с этого времени. Значит, перелом должен был обнаружиться очень незадолго до 20-х г.г. и, вероятнее всего, совпал с внешними показателями замирения государства. В 1617 г. Столбовский мир положил конец военным действиям против шведов, а в 1619 г., в селе Деулине, под Троице-Сергиевым монастырем, было заключено перемирие с Польшей. К началу 20-х годов исчезли и воровские шайки, которые так долго и так упорно разоряли страну. Если это так, то временем наибольшего развития смуты хозяйственной надо считать время между 1615 и 1620 г.г., иначе сказать, смута хозяйственная отстала от смуты общественной и государственной и продолжалась долее нее.

До нас дошло несколько описаний тех же троицких вотчин 1612 г.; сравнение с их с описаниеми 1614—1616 годов ясно показывает, что за эти годы общее состояние имений резко падало: в вотчинах Владимирского, Кашинского, Костромского и Муромского уездов, известиями о которых мы располагаем, пашни в 1612 г. было около 1.600 десятин, а в 1616 г. оставалось только 400; крестьян было в 1612 г. 431 двор, в 1616 г. 272; бобылей соответственно—162 и 181 двор. Известия показывают, с другой стороны, также, что в разгар смуты политической хозяйственное состояние было выше, чем во второй половине 10-х годов, когда Смутное время с внешней стороны уже закончилось и новое единое и законное правительство прилагало неустанное старания к успокоению государства.

Ясно, что все громадное пространство Московского государства не могло быть разорено в одинаковой степени. Можно смело утверждать, что наиболее пораженными смутой следует считать местности, простиравшиеся на запад от Москвы—к литовской границе. Не считая опустошений воровских шаек, надо принять во внимание, что по этому краю шел к Москве Сигизмунд в 1612 г.; здесь же, шесть лет спустя, проходил его сын Владислав, пытаясь возвратить утраченный московский престол. Не менее разорены были все южные окраины Московского государства, сделавшиеся очагом смуты еще с первого Лжедмитрия. В последний раз по ним прошелся малороссийский гетман Са-

гайдачный, направляясь в 1618 году под Москву на соединение с Владиславом. Сагайдачным были сожжены Путивль, Льгов, Елец, Лебедянь. В корень опустошен был Новгородский край, где хозяйничали шведы и развивались военные действия в 1613—1617 г.г. В некоторых из названных сейчас местностях, например, в западных пограничных уездах, возделанная земля составляла менее 5% всей земли, описанной посланными из Москвы писцами. Не многим лучше было благосостояние местностей, лежавших к северу от столицы: здесь опустошения были особенно заметны в Дмитровском, Угличком и Бежецком уездах, где воровские скопища держались очень долго и очень упорно. Тут пашня в 1620 г.г. не превышала 6—7% земли, описанной писцами. Затем следует Московский уезд и местности, лежавшие близ самых важных торговых путей того времени—московско-вологодского и московско-новгородского. Тут сила опустошения объясняется самым значением этих мест; к Москве сходились все пути, и естественно, что по наиболее важным из них держались грабители, наводя страх и на путников, и на окрестных жителей. Под Москвою и в сторону Ярославля, Вологды и Твери пашня доходила до 15% всей когда-то возделанной площади. В значительно лучшем состоянии находились местности к востоку от Москвы—Владимирский и Суздальский край и окрестности Нижнего-Новгорода. И это вполне понятно. В Суздальщине тушинцы еще в 1608—1609 г.г. встретили крепкий отпор, опиравшийся на Нижний. Нижний был потом сотрудником Ляпунова, наконец, в Нижнем формировалось и готовилось к своему подвигу ополчение Минина и Пожарского. Край был менее наводняем врагами и грабителями и сам был ядром народной защиты. Понятно, поэтому, что здесь в ближайшие годы после воцарения Михаила пашня доходила до 50% обрабатывавшихся прежде земель. Само собой разумеется, что чем далее итти к северу или востоку, тем менее признаков опустошений можно было встретить. Уже обширный Галицкий уезд и расположенные по Ветлуге лесные волости Костромского уезда почти не носили следов опустошений: на севере шайки грабителей не заходили далеко за Вологду и не были склонны слишком удаляться от дорог к Белому морю; все, что лежало вдали от них, сохранилось почти без всякого ущерба, как сохранился почти без потрясений Пермский и Вятский край. Наконец, в Поволжье носили следы грабежей и опустошений только те отдельные местности, где вспыхивали мародерские бунты и появлялись отдельные воровские станицы.

Все известные нам данные, почерпнутые из хозяйственных описаний страны, производившихся в первые десять лет царствования Михаила, единогласно свидетельствуют об

огромной убыли и сельского населения, и посадских людей, горожан, и дворян-помещиков. Мы можем, конечно, заранее сказать, что потрясения Смутного времени не могли позволить всему населению усидеть на старых местах. Но какая судьба в действительности постигала исчезавших с места прежней оседлости людей? Некоторое, но, конечно, небольшое сравнительно число жителей погибло во время движений самозванцев и Болотникова или пало от разбоев и насилий литовских, казачьих и своих разбойничьих шаек. В описаниях 10-х и 20-х годов не раз встречаются известия о крестьянах, «вымерших в лихолетье», «побитых от польских и литовских людей» и «в полон поиманных». Но еще чаще попадаются известия о запустении сел и деревень от бегства живших в них крестьян, которые «сбрели безвестно» или «ходят по миру». Часто беглецы искали какого-нибудь прибежища, где бы они могли найти бо́льшую безопасность, нежели в обычно открытых и незащищенных деревенских селениях. Таким прибежищем могли быть прежде всего, города и посады. Так, бобыли из села Карамышева, Боровского уезда, по сведениям писцов 1629—1630 г.г., «жили в городе Боровске на посаде, разошлись с литовского разорения»[120]). Впрочем, бегство в города едва ли имело место особенно часто. Ведь и города были, за редкими исключениями, защищены недостаточно и сами подвергались набегам и грабежам. Бывало и наоборот: посадские люди, например, в Белеве, иногда кормились в уезде Христовым именем. Гораздо естественнее было бы для беглецов итти теми дорогами, какими издавна привыкли направляться все, кому плохо жилось в пределах Московского государства. Самая проторенная дорога вела на юг, за Оку, в Украйну. Но, по условиям времени, в южной Украйне было трудно искать безопасности: более спокойным краем было среднее Поволжье. Туда более всего и шли беглецы, передвигаясь постепенно из наиболее разоренных местностей. Заметнее всего сдвинулось со своих мест население западных уездов государства, наиболее запустевших. Вот несколько примеров, поясняющих сказанное сейчас. В Можайском уезде писцы отметили пустые дворы крестьян, которые «кормятся во Мценском уезде, сошли в 130 (1622) году»[121]), жители Белевского уезда живут, «бегаючи в украинных городах»[122]). В Ржевском уезде в 1625 г. отметили людей, которые «привезены по государевой грамоте из Арзамаса, сходили в разоренье от войны»[123]). В запустевшее село Дымцово, Бежецкого уезда, в 1627 г. «прибрело из понизовых, т.-е. Поволжских городов,— тутошних жильцов бобылей человек с пять»[124]). Едва ли, однако, не чаще всего население, бежавшее со своих мест, оставалось вблизи брошенного, сожженного или разрушенного дворища и бродило «меж двор» по уцелевшим

селениям или скрывалось по лесным дебрям: переяславские торцовые крестьяне били челом государю: «не вели нас литовским людям воевати и своих, государь, вотчинных деревень пожигати», а «достольные твои крестьянишки со страху и ужасти скитаются по лесу и по болоту»[125]). Однако, как только началось замирение страны, распуганное, бродившее и скрывавшееся по лесам население начало возвращаться по старым местам; оттого-то сразу, уже в 20-х годах замечается прирост населения в опустевших перед тем городах и селах Московского государства.

Тяжело было положение крестьян в годы смуты, но не лучшим было и положение служилых людей,—того рядового провинциального дворянства, которое спасало родину под предводительством Ляпунова и Пожарского. Много поместий было покинуто и оставалось без владельцев. Иные служилые люди от бедности и разорения, подобно крестьянам, должны были искать счастья, уходя на новые места, или скитались меж дворов, прося милостыни. Не все возвращались потом на старые пепелища, да и положение тех, кто сидел на месте, было часто не лучшим; невелико бывало их благосостояние.

В первые месяцы царствования Михаила Федоровича торопчанин Роман Хрипунов бил челом о сложении с него полона «для его разорения»: «был я в полону у литовских людей, у Лисовского, и разорен до основания и поместьишком своим не владею четвертый год», поясняет он в челобитной[126]). В 1643 г., т.-е. уже четверть века спустя после описанных в настоящем очерке событий, суздальский дворянин Блудов подал Михаилу Федоровичу челобитную, в которой рассказал свою печальную историю: от бедности просился он в служки в Троице-Сергиев монастырь, но келарь, приняв его, отдал в холопы своему родственнику, а когда Блудов заупрямился, то келарь посадил его в тюрьму. Тогда, «не стерпев тюремные нужи», Блудов дал на себя кабалу, превратившую его в холопа. «А отец его служил 44 года и в 130 (1621-1622) году отставлен». По справкам оказалось, что Блудов говорил правду; его отец был действительно дворянином и суздальским помещиком, но его поместье к концу его службы было «пусто от лихолетья, один его дворишко»[127]). Разорение отца низвело сына до холопства. К ближайшим годам после смуты относится также челобитная боярских детей Рогачевых, которые, как совершенно нищих и разоренных, не считали служилыми людьми. «И нынеча, государь, говорится в их челобитной, бьет на нас холопей твоих челом князь Григорий Гофкин ложно, видючи нашу великую бедность, и называет нас крестьянами своими»[128])

Разумеется, что при всеобщем обеднении населения и полном разорении полей должны были сильно пасть торговля и промышленность страны, и без того очень слабо развитые. Я уже указывал выше на обеднение богатого и мощного Нижегородского посада; то, что было в Нижнем, еще в большей, конечно, степени отразилось на других городах, более него пострадавших. А вот картинка из сельского торгового быта, рисующая состояние сельского торжка под г. Клином после смуты: «На погосте св. Егория до литовского разорения было 5 лавок рубленых да 4 полки, а торговали в них съезжие сельские люди всяким товаром в неделю один день, а ныне торг в пусте, запустел от литовского разорения»[129]).

Мы знаем, как велико было значение землевладения в Московском государстве. В свое время мы видели, как государство, еще в XVI столетии, должно было раздавать земли вновь образуемому им военно-служилому сословию и платить им землею за недостатком денежных средств. Доходами со своих земельных владений жил царский московский дворец; на те же источники содержались и монастыри, которыми вера и усердие русских людей усеяли всю страну. Источником всеобщего благосостояния в чисто земледельческом крае была земля; поэтому естественно что состояние земли, не только чисто хозяйственное, уже выше очерченное, но и состояние землевладения может служить показателем того, как глубоко затронула смута весь бытовой уклад Московского государства. Оказывается прежде всего, что смута очень способствовала исчезновению самых слабых и беззащитных русских землевладельцев. До смуты еще в очень многих местах и, насколько можно думать, в большом количестве, обитали свободные незакрепощенные крестьяне: землю, ими обрабатываемую, они называли «государевой, а нашего владения». Они платили подать в казну. Все обложенное податями называлось в то время «черным», в противоположность «белому», обеленному, свободному от повинностей и податей в пользу государства. Все свободные крестьяне, никому не подвластные, кроме государя и государства, обычно также назывались «черными людьми», а земли, ими занятые,—черными землями. Но никому не подвластные черные люди оказались в тяжелое время и никем незащищенными; на них прежде всего сказались последствия лихолетья; им, более чем другим, пришлось искать спасения в бегстве, в уходе с насиженных мест. И что же оказалось в результате? Там, где было ранее много черных земель, их нередко в 10-х и 20-х годах XVII столетия не оказывалось вовсе: вместо деревень оставались пустоши и заросли; вместо жилья—лишь воспоминания о нем. Уцелевшие от бури более не возвращались: им выгоднее было селиться где

нибудь у помещика или у монастыря, где они могли рассчитывать на первое время найти хоть какую-нибудь материальную помощь и поддержку; там они постепенно, и, нередко, незаметно для самих себя, превращались в подневольных крепостных. А их прежние земли, брошенные и оставленные, раздавались позднее служилым людям, снабжение которых землею оставалось и после смуты одной из главных забот правительства. На этих землях новые владельцы селили своих крепостных, и таким образом и сами черные люди и их черные земли теряли свою прежнюю свободу и переходили в крепостные, подневольные, зависимые от других. Черные люди и черные земли сохранились только на далеком севере и северо-востоке, в Поморских уездах за Вологдой, Великим Устюгом и в далеких Вятке и Перми.

Сказывалась смута и тем, что почти вовсе перестали соблюдать законы, касавшиеся владения землею. Еще при Иване Васильевиче, правительство, испуганное слишком большим притоком земель в монастыри, ограничило законом приобретение земель обителями и церквами. И что же? Все эти ограничения перестали соблюдаться в Смутное время потому, что при полном расстройстве всей государственной машины, особенно в междуцарствие, некому было даже и следить за исполнением законов о землевладении. Но едва ли не хуже всего обстояло дело с дворянским землевладением, которое, как мы знаем, составляло обеспечение дворянской службы и вознаграждение за нее. В особенно большой беспорядок пришло оно со времени Тушина: лицом к лицу стояли два правительства, московское и воровское; каждое раздавало поместья своим сторонникам; каждый царь и Василий, и Лжедмитрий выдавал жалованные грамоты на владение землями. Выходило иногда так, что одну и ту же землю получали два лица, два врага, находившиеся в двух непримиримо настроенных лагерях. Когда избрали Владислава, то и он, или, вернее, отец его, Сигизмунд, стал раздавать русские земли своим друзьям и сторонникам; источников раздачи стало таким образом уже не два, а три. Можно себе представить, какая путаница должна была получиться в земельных делах, особенно если подумать, что пожары, опустошения, тяжелая необходимость бежать из родного города, очень часто приводили самих законных владельцев к потере документов на свои земли. Так выходило, что многие, издавна и на совершенно законном основании владевшие своими поместьями и вотчинами, были лишены возможности доказать это. Были и такие, которые старались нахватать земель, по возможности, у всех, кто ее раздавал, и притом нахватать, скрывая неправильно захваченные излишки. Новому правительству пришлось много и долго возиться с последствиями тяжелого положения, создавшегося в служилом землевладении.

и вырабатывать особые правила закрепления земель за владельцами, стараясь при этом, чтобы интересы владельцев законных получали предпочтение перед корыстью захватчиков.

Таковы были проявления смуты в сложной и обширной области народного хозяйства. Смута нарушила старые отношения, распугала и разогнала население, превратила пашню в перелог и лесные поросли, остановила торговлю, внесла беспорядок и путаницу во владение землею, составлявшее основу государственного быта того времени, а, главное, хозяйственная разруха, поразив в разной степени отдельные области страны, продолжала углубляться и расти еще довольно долго после того, как избранием нового царя Смутному времени был, казалось, положен конец.

Создание нового законного правительства было одним из средств, чтобы прекратить дальнейшее расхищение государственного и народного достояния; с первого дня своего существования оно должно было начать упорную борьбу с хозяйственной разрухой, оно вело ее, не жалея усилий, но должно было пройти не мало времени, прежде чем ему удалось, перевалив через гребень разрухи, привести в порядок хозяйственную жизнь страны.

ГЛАВА X.

Последствия смуты и реакция после нее.

Бурная, полная тревог эпоха, какою на самом деле было Смутное время, не могла остаться без глубоких последствий. Жизнь народа, перенесшего потрясение, едва не стоившее ему самостоятельности (а ведь потеря самостоятельности, т.-е. порабощение во власть другому народу, есть не что иное, как народная смерть), еще долго испытывала на себе влияние пронесшейся бури, и русская история XVII столетия носит немало следов и последствий событий Смутного времени. Но цепь революционных переворотов и взрывов, какой было наше Смутное время, влечет за собою еще и особый ряд следствий. Чрезмерная сила прекратившейся и отошедшей в прошлое революции вызывает стремление к дореволюционному прошлому; разочарование в буре ведет иногда даже к желанию вновь погрузиться в состояние, предшествовавшее ей. Такое состояние, как я уже говорил во введении к настоящему очерку, обычно называется реакцией. Нам и надо теперь посмотреть, во-первых, была ли такая реакция после смуты и, во-вторых, какие более длительные последствия Смутного времени сказывались позднее в жизни Московского государства.

В народных думах о смуте, в искании причин, которые ее вызвали, в объяснении с гневом Провидения, обрушившегося на Русь, уже чувствуется утомление и разочарование от переживаемого. Во всеобщем голосе, твердившем, что грехи навлекли на русскую землю Божий гнев, чувствуется нарастающая волна реакции. Однако, немало можно указать обстоятельств, которые должны были уменьшить силу реакционной волны и сделать ее сравнительно очень умеренной и недолгой. Прежде всего уж слишком велико было утомление. За малыми исключениями, к которым надо причислить воровские шайки, казачьи станицы Заруцкого и отряды иноземцев, вроде Лисовского, все жаждали мира, покоя, отдыха; все устали, все понесли потери. Не было больше сил даже, чтобы мстить и сводить счеты. Преследовали отдельных лиц, истребляли людей, признанных общим голосом за наиболее вредных, таких, как Андронов, Заруцкий, но сознательного желания отплатить за мучения, с корнем уничтожить все, что поднялось и было добыто в смуту, мы при всем желании не видим не только в широких массах исстрадавшегося на-

рода, погруженного в думы о покаянии, но и в тех кругах, которые стали у власти в 1612—1613 годах. Если вдуматься поглубже, то и это последнее обстоятельство станет понятным. Кто одолел в той общей свалке, в которую в 1610—1612 годах превратилась русская жизнь, кто победил самую смуту? Ведь это были средние слои русского общества, которые никогда не хотели смуты, не участвовали в ее первоначальном развитии, но были вовлечены в нее помимо воли. Они прятались от налетавшего на них бедствия, отворачивались от него и пошли на борьбу с ним только из самосохранения, чтобы спасти свою жизнь и возвратить себе мир и покой. Когда они достигли своей общей цели, они остались такими же, какими были раньше. Не месть, не власть привлекали их к себе, а спокойная жизнь под родным кровом, и не случайно северно-русская земщина—крестьяне и посадские и служилые люди центральных уездов, т.-е. те, союз которых спас родину, так быстро стали разъезжаться из Москвы по домам в ноябре и декабре 1612 года. Думая, что все кончено, они мало заботились даже о закреплении нового строя, торжество которого было обеспечено их усилиями; их тянуло домой и только. Где же было думать о какой-то сознательной реакционной политике, тем, для которых лучшей реакцией было возвращение к покою, из которого они вышли только в силу жестокой необходимости?

Земщина и служилые люди одолели смуту, соединившись с казаками, оставшимися под Москвой под начальством князя Д. Т. Трубецкого. Хотя это были самые умеренные слои казачества, но они все же оставались казачьей вольницей, пришедшей на Русь с первым Лжедмитрием и с Болотниковым и служившей опорой Тушину. Мы хорошо знаем, какую силу получили казаки в Москве между временем ее освобождения и Земским собором, избравшим царя. Распоряжаясь в Москве, они еще тогда выдвигали мысль об избрании Михаила Федоровича. Заметно и их влияние на Земском соборе. Самое избрание царя Михаила было предложено одновременно галицким дворянином и казачьим атаманом. Несмотря на сомнительное прошлое, казачество оставалось большой и влиятельной силой, как раз в то время, когда созидался и устанавливался новый порядок вещей. С казаками нельзя было не считаться; вымещать им их прежние обиды и насилия было невозможно, да и некому было это делать. И это обстоятельство также уменьшало силу той реакционной волны, которая могла бы высоко подняться в это время. Добавим еще одно соображение; едва ли не самой неотложной задачей нового правительства в первые годы царствования Михаила Федоровича была борьба с внешними врагами—поляками и шведами. Для этого требовалось единение, а не разлад, внутреннее согласие между всеми слоями

общества, которые только что отстояли и спасли государство, а не вымещение старых обид и не сведение старых счетов. Необходимость борьбы с внешним врагом заранее придавала новому правительству и его действиям умеренный и примиряющий характер.

Так выходило, что сильной реакционной волны после длительного революционного периода в Московском государстве XVII века быть не могло; поддерживать ее было и некому и как будто не для чего. Все, наоборот, указывало, что новый строй должен держаться политики примирительной и продолжать работу по спасению государства и народа, начатую земскими ополчениями. Общий умеренный характер нового строя прежде всего сказался на составе того правительства, которое правило и действовало именем молодого Михаила Федоровича. В освобожденной от врагов Москве новая власть с самого начала не стала разбирать политического прошлого тех лиц, с которыми ей пришлось работать; она довольствовалась одним только убеждением, что эти лица в данное время надежны и годны. Новое правительство оставило у дел почти всех тех, кого оно застало на местах. За исключением опять-таки очень немногих и совершенно определенных лиц, не пострадал никто; новым царем не было наложено ни одной опалы. Интересно отметить, что даже суд над «изменниками», т.-е. над Андроновым и очень немногими его сообщниками, запятнавшими себя предательством родине и совершенно открытым казнокрадством, старались не связывать с именем нового государя; их казнили до его приезда, по приговору не царя, а «всяких чинов людей», т.-е. Земского собора. Новый царь как бы и не должен был освящать своим именем расплату даже за самые мрачные дела нежизнего прошлого. Можно было бы подумать, что дело изменилось, когда власть в государстве сосредоточилась в руках государева отца «великого государя» патриарха Филарета Никитича. Он вернулся из польского плена в 1619 г., освобожденный по условиям перемирия, заключенного в предшествовавшем году в с. Деулине под Троицко-Сергиевым монастырем. Сильный и властный старик достиг мечты своей жизни и твердо взял в свои руки кормило власти. У него, замешанного во все крупные события смуты, могли быть старые счеты, могло быть и желание расплатиться по ним. Однако, его поступки говорят совсем об ином; он ограничился только тем, что очистил правительственную среду от нескольких назойливых родственников, успевших навести тень на молодого государя. Сделав это, он соединил в одном правительственном круге прежних деятелей земских ополчений, прежних тушинцев, лиц, ранее бывших близкими к нему и вообще к Романовым и пользовавшихся его личным доверием по старым житейским связям. Наконец, среди деятелей

его времени мы видим даже прежних сторонников Сигизмунда. Остатки старого большого боярства попрежнему заседали в Думе, где мы видим и Д. Т. Трубецкого и последнего Шуйского, князя Ивана Ивановича, и Воротынских и Голицыных. Сохраняет свое положение деятельный и честный Пожарский. Наверно, и Минин, получивший за свои заслуги высокое звание «думного дворянина», нашел бы достойное место в тогдашнем правительстве, если бы ранняя смерть не похитила доблестного представителя земщины. Много тушинцев получали высокие назначения и до возвращения Филарета и при нем; так, дьяком посольского приказа долго был один из первых тушинских дельцов, думный дьяк Петр Третьяков, а преемником его был не кто иной, как Иван Тарасьевич Грамотин, тот самый, который вместе с Гонсевским, Салтыковым и Андроновым вершил делами в Москве именем короля Сигизмунда. Не переменой в составе лиц боролось правительство Михаила и Филарета с последствиями общей разрухи, а стараниями соединить самых различных людей для выработки общих мероприятий, которые должны были проводиться при помощи Земских соборов, почти непрерывно заседавших в течение всего царствования Михаила Федоровича. В людях, из которых состояло правительство первого государя новой династии, можно видеть представителей почти всех партий, кружков и направлений, действовавших в Смутное время. Можно, пожалуй, сказать даже, что наибольшее, относительно, число их принадлежало к бывшим тушинцам: Филарет Никитич, так долго проживший в Тушине и так хорошо знавший тамошних деятелей, не только не отверг их по возвращении в Москву, но как бы упрочил и узаконил их положение.

Правительство, в котором соединились вместе прежние враги и соперники, прежние деятели лихолетья, не могло отстаивать выгод и интересов какого-нибудь одного направления. Оно само было следствием как бы соглашения, и потому не могло быть правительством реакционным. Если оно принимало меры против известных лиц или даже против отдельных групп, так только против таких, которые проявили себя, как особенно вредные в смуту, при чем в таких случаях оно обычно опиралось на сочувствие всего общества.

Но кто же особенно повредил Руси в смуту? Прежде всего приходят на ум те, кто ее затеял, т.-е. верхи, — бояре, и низы, — казачество и украинный люд, поднявшийся на государство. О каких-либо мерах против бояр говорить не приходится; ни один из них, за исключением спасшегося бегством М. Г. Салтыкова, не совершил явного по тогдашним понятиям преступления; преследовать было некого. Наказанные мимолетным общественным недоверием за свою

податливость в междуцарствие, бояре вернулись в царскую думу и остались на первых местах при новом царе, как они сидели на них при прежних государях. Но с боярством, с большим родовитым боярством, которое в XVI столетии предъявляло притязания на власть в государстве, случилось другое: оно изжило себя духовно и исчезло само собой. Оно не сумело осуществить свою мысль заменить Годунова царем из своей среды и вместо того ввергло страну в неисчислимые бедствия. Оно не сумело удержать власть и влияние в своих руках в 1610 г., когда Москва осталась вовсе без царя. Оно потеряло последние остатки своего былого влияния, оно отчасти даже вымерло. Царствование Михаила Федоровича видело смерть последнего князя Шуйского; незадачливый кн. Ф. И. Мстиславский умер в 1620-х годах последним представителем своего рода; ни Голицыных, ни Воротынских более нет среди первостепенных деятелей царствования Михаила. На их место выступают новые люди, новые боярские фамилии. Происходят они из царской родни; иные достигают своего высокого положения службой; многие носят княжеские титулы, но даже и эти последние происходят по большей части из второстепенного круга, из худородных или когда-то захудавших от опал родов—о Пожарских, Долгоруковых, Репнилых, Волконских—не слышно перед смутою. Новая знать не предъявляет претензий на власть. На-ряду с верхними слоями служилого дворянства, с теми самыми, которые в смуту выделяли Ляпуновых, и столичными дьяками, оно считает себя первыми слугами царя, и не более. Почти на глазах людей, переживших смуту, происходит смена правящей среды; старая отмирает, заменяясь другой, более скромной, в своих политических стремлениях, более послушной царским велениям. Таково было одно из длительных последствий Смутного времени.

Казаки, после укрепления нового строя, исчезают из Москвы. Опираясь на сочувствие всей страны, правительство царя Михаила Федоровича возобновляет против казачьей вольницы, украинных бродячих и ненадежных людей ту самую борьбу, которая так дорого обошлась царю Борису Федоровичу. Сейчас же после смуты стараются снова высылать на южные границы опольчения для защиты страны от крымских татар, которые, к счастью для Руси, мало вредили ей во время смуты, будучи поглощены своими домашними неурядицами. Мало-по-малу возобновляется наступление на степь, основываются новые города, населяемые надежными людьми, переводимыми с севера. «Дикое поле»,—девственная степь,—раздается служилым людям, которые заселяют свои земли, переводя туда крестьян из более северных своих поместий, вотчин. В XVI столетии вольная колонизация еще соперничала с правительственной, в XVII столетии последняя

господствует. Да и казачество вышло из смуты, утомленным; наиболее крайняя его часть распылилась, разметалась, на время уменьшилась. Поэтому, при Михаиле на Украйне тихо; тихо и на Дону, и эта тишина продолжится более полувека, пока там не накопятся вновь горючие материалы и не западает в них искра, от которой поднимается разинский бунт. Таково другое последствие Смутного времени: низы истерлись и ослабели не менее верхов. Но, как это ни странно на первый взгляд, разрушительная деятельность общественных низов, так сильно проявившаяся в смуту, сказалась на судьбе крестьянской земщины, так много способствовавшей исцелению страны от постигшего ее недуга. Если оглянуться назад, на события смуты, то нетрудно видеть, что крестьянство, взятое в его целом, имело в это время двойственную судьбу. С одной стороны, уже утерявшие свободу крестьяне подмосковных местностей и мятежно настроенные жители южных областей, составляли постоянные кадры революционных армий, с другой — свободное и зажиточное крестьянство севера и северо-востока начало борьбу со смутой и приняло видное участие в борьбе за восстановление государственного порядка. Такой двойственный характер отзывается и на дальнейшей судьбе крестьянства. Меры против бунтовавших низов власть принимала еще в самый разгар смуты; вспомним уложение царя Василия о крестьянах и приговор лянуновского ополчения 30-го июня 1611 года. Правда, уложение 1607 г. оставалось пока без применения, а приговор 1611 года стоил жизни вождю ополчения, но и свободные крестьяне севера не получили того значения в государственных делах, право на которое давало им деятельное участие в борьбе за государственный порядок. Таким образом из смуты крестьянство в целом вышло как-будто в том же состоянии, в каком оно вошло в нее. Однако, дальнейшая история сельского населения Руси снова, как и до смуты, пошла по линии дальнейшего ухудшения. Это произошло, как последствие явлений, в свою очередь тесно связанных со Смутным временем. Страна была разорена, а новому правительству надо было строить и укреплять государственный порядок и, прежде всего, воссоздавать военную оборону государства. В доброй половине страны служилое дворянство было разорено не менее, чем крестьянство; чтобы сделать служилых людей вновь боеспособными, пришлось дворянам раздавать земли там, где они были менее разорены, т.-е. на севере и востоке. И вот началась раздача земель, с жившими на них крестьянами там, где до смуты жили только одни свободные крестьяне. В Белозерском крае поместили сполна; роздали в частное владение черные волости Галицкого и Костромского уездов: помещики вообще потянулись за Волгу.

лой и в среднем Поволжье. Очень скоро вышло, что едва ли не большая часть тех крестьян, которые приходили спасать Москву вместе с Мининым, из свободных превратились в крепостных. Шумный и дикий мятеж южной Украйны не обеспечил за крестьянами их свободы; а недостаточная энергия и недостаточное понимание своего положения не позволили преданным старине земским мирам севера отвоевать себе устойчивое положение в государстве. Свершив свой подвиг, они разошлись по домам, думая, что теперь никакое бедствие их не постигнет, а между тем незаметно, исподволь, к большей части их подкралась крепостная неволя. Вот новое последствие смуты: необходимость воссоздать армию привела к большим раздачам государственных земель в частное владение и расширила пределы, где развивалось крепостное право.

Однако, не одной только раздачей земель должна была государственная власть обеспечивать оборону страны. Для этой цели она нуждалась и в деньгах. Внешние отношения Московского государства, столь напряженные в смуту, были предметом правительственных забот и позднее. И вот мы видим, что повторяются явления далекого прошлого времени царя Ивана Васильевича. Нуждаясь в деньгах, государство усиливает податное бремя, а от этого, в свою очередь, понижается хозяйственная сила крестьянства. От смуты оно оправилось, но прежнего уровня благосостояния, какое у него было до царя Ивана, оно так и не достигло. Так, свободное крестьянство уменьшилось в числе и неся бремя податей, не могло в полной мере отдохнуть от Смутного времени. Кто же воспользовался таким положением вещей? Прежние союзники свободного крестьянства - служилые люди. На верху, у кормила власти, они постепенно заменили собою прежнее боярство. Получив после смуты большие земельные владения, они стали приобретать материальное могущество, совершенно им незнакомое и недоступное до смуты и в смуту. Влиятельные в правительстве и постепенно богатеющие, они перестали довольствоваться тем, что несли только одни обязанности, и стали постепенно добиваться прав. Права политические, давшие ему влияние на дела государственные, дворянство добыло много позднее, но права над крестьянами, живущими на его землях, оно приобрело в XVII столетии. Главным из них было уничтожение самовольного крестьянского выхода с помещичьей земли и право рассматривать всякого уходящего как беглого. Это право дворянам дало соборное уложение 1649 г. Судьба союзников 1611 и 1612 гг. далеко разошлась в полвека, протекших после смуты. Смута сплотила дворян и крестьян, а условия жизни, наступившие после нее, вновь

рот, их разобщали; но в этих условиях очень многое вытекало из самой смуты и было тесно с ней связано.

Мы можем себя спросить: а разве у дворян и крестьян, спасших страну, не было третьего союзника - русских горожан, посадских, из среды которых происходил Минин? Что же сталось с ними после смуты? Отвечая на этот вопрос, надо помнить, что городов на Руси было немного. Горожане сами по себе не представляли большой силы в стране. В Смутное время, когда вместе с крестьянами они вышли на спасение родины, их силу составляло тесное единение с крестьянскими мирами. По мере того, как слабели последние, слабела и сила посада. Пока в царствование Михаила Федоровича заседали Земские соборы, голос русских городов еще раздавался иногда, но когда они стали собираться все реже и реже, жители русских городов вновь возвратились к тому положению, в котором были до смуты. Они несли свое тягло, т. е. платили подати и несли повинности, собирая в казну и разные денежные сборы. О правах их не думал никто, сами же они были слишком слабы, чтобы их закрепить и обеспечить за собою.

Тихо и незаметно, хотя и в тесной связи с последствиями Смутного времени, отдельные группы русского общества, за исключением бояр и дворян, вновь вступили на тот самый путь, по которому шли до смуты. То же произошло и с властью русского государя. Кто шел против нее в смуту? Бояре, отчасти московские дьяки и столичные дворяне и наконец, анархически настроенные низы. Но боярство пало и выветрилось. Столичные дворяне, а вместе с ними и дьяки, при новом царе близко подошли к власти и стали умножать свое материальное достояние. Не в борьбе с царской властью, а в союзе с ней видим мы эту группу при Михаиле Федоровиче. Мы не знаем, что обещал Михаил избравшим его на царство, и даже обещал ли он что-нибудь, но, наверное, думный дьяк посольского приказа, по современному — министр иностранных дел царя Михаила Федоровича, Иван Тарасьевич Грамотин, влиятельный и уважаемый сановник, забыл под конец жизни о тех ограничениях царской власти, которые он когда-то обсуждал вместе с другими, ведя переговоры об избрании Владислава, или проводя на московский престол Сигизмунда. Противогосударственно настроенные казаки и население Украйны, неоднократно приходившие под Москву, проиграли игру; крайние стерлись и исчезли, умеренные примкнули в 1612 году к земщине. А чего хотела земщина, т. е. городовые дворяне и посадские, и домовитые крестьяне, от царской власти? Она хотела прирожденного государя, подобно прежним царям, и больше ничего; она желала восстановления царской власти и, оставшись победительницей,

она восстановила ее в прежнем виде. Нужды нет, что Михаил Федорович, может быть, что-то, кому-то обещал при избрании: если и было что обещано, то дворянская часть земщины, удержавшаяся близко от власти, настолько мало требовала от царя чего бы то ни было, что уже ко времени смерти Михаила толком не знали, давал ли он какую нибудь запись, подобно царю Василию, или нет. При Михаиле и его преемниках неограниченная власть московских государей продолжала развиваться, чтобы достигнуть своего полного расцвета при Петре Великом.

Мы можем теперь подвести итоги последствиям, которые повлекли за собою бурю Смутного времени во внутренней жизни Московского государства. Они на первый взгляд кажутся не великими. Сильной реакции не было, потому что власть перешла в руки союза людей, которые в смуту держались очень различных, часто враждебных одно другому направлений. Внутренняя политика Филарета Никитича, самого долговечного и выносливого из деятелей смуты, была направлена ко всеобщему примирению, к залечению ран прошлого. Филарет точно сознательно старался заставить забыть те бедствия, в которых он, может быть, сам нес большую долю вины, если только, действительно, он «выдумал» первого самозванца. Люди 10-х и 20-х годов, с Филаретом во главе, вели к тому, чтобы жизнь страны потекла по прежнему руслу, чтобы колебаний было как можно меньше, чтобы пережитый великий сдвиг давал себя чувствовать как можно слабее.

Однако, если слаба была реакция, то последствия пережитого были очень значительны во внутренней жизни страны даже там, где они кажутся малозаметными. Победа средины общества и поражение верхов и низов сказались совершенно определенно. Средина стояла за восстановление царской власти в ее прежнем виде: царская власть была восстановлена, и самодержавие продолжало расти и развиваться. Боярство, как политическая сила, исчезло. Вследствие этого царская власть перестала встречать какое бы то ни было соперничество или соревнование. Анархические низы, подавленные, замолчали на целых полвека, что помогло московскому государственному строю укрепиться на очень долгое время. Хозяйственная разруха и необходимость для страны вновь напрячь все силы для восстановления своей обороноспособности привели к тому, что победившая середина раскололась: постоянные военные слуги, дворяне, выиграли и их влияние стало увеличиваться; сельские тяглецы были принесены в жертву и незаметно для себя потеряли свободу. Средины середины городские, оставшись в одиночестве, оказались слишком слабыми и поте-

ряли значение, мимолетно приобретенное ими во время нижегородского ополчения.

Иностранное вмешательство было очень важным явлением смуты; именно оно едва ли не довело русскую землю до полной гибели. Внешние отношения тяжелым бременем легли и на новое правительство, которое только к 1618 году успело закончить шведскую войну и найти временное решение для русско-польских отношений. Однако влияние обоих соседних государств, вмешавшихся в русские дела, было в событиях Смутного времени очень различным. Раздражения против шведов было гораздо менее, чем против поляков. Начальник шведских войск Яков де-ла-Гарди, даже командуя войсками в занятом шведами Новгороде, вел себя гораздо корректнее, чем Ян Сапега, Лисовский, гетманы Хоткевич и Жолкевский, а королевич Карл-Филипп и даже брат его, знаменитый король Густав-Адольф, энергично продолжавший войну с Москвою, все же оставили по себе менее дурную память, чем Сигизмунд, никем не прошенный соискатель русского престола, и его сын, нареченный царь Владислав Жигимонтович. Оттого отношения со Швецией налаживаются быстрее и долго остаются хорошими и даже сердечными; в конце 20-х г.г., когда король Густав-Адольф собирался вмешаться в Тридцатилетнюю войну и замышлял поход в Германию, московское правительство охотно разрешило ему снабжать свои армии провиантом и фуражом из московских владений. При московском дворе искренно радовались победам Густава-Адольфа над германскими католиками, именно потому, что сосед Сигизмунд сочувствовал этим последним. Наоборот, обиду короля в Москве никогда не могли забыть, и все строительство земли русской, особенно со времени возвращения Филарета, все меры к восстановлению военных сил Москвы имели в виду, главным образом, возвращение Смоленска, т.-е. исцеление от глубокой раны и оскорбления, нанесенных отнятием древнего русского города, сильной пограничной крепости и большого торгового центра. Внешняя политика Москвы при Михаиле Федоровиче всегда определенно склонялась в сторону Швеции и неизменно была враждебна Польше; это лучше всего доказала вторая война с Польшей, которую в 1632 году начала сама Москва. Такая политика относительно соседей была прямым и очень важным последствием смуты.

Стараясь объяснить себе причины постигших их несчастий, русские люди видели их в грехах, ими содеянных. Мы видели, как глубоко засела эта мысль в умах современников смуты, как властно звала она их на подвиг соединения всех для общего дела. Теперь настало время сказать, что мысль эта надолго пережила смуту, что является наиболее

характерным, может быть, последствием смуты в духовном мире людей того времени. Русская земля в грехах: ей было ниспослано тяжелое испытание; Господь сжалился над русскими людьми и избавил страну от врагов. Но грехи так велики, что скоро их не замолить; нет возможности и отблагодарить в достаточной мере Провидение за благодеяния Его к грешному русскому народу. Чем же замаливает свои грехи русский человек того времени, чем благодарит он Бога? Конечно, своим достоянием; а достояние его чаще всего состояло в земле. Землею, недвижимым имением, он замаливал свои грехи, вотчиной благодарил он Бога, отдавая ее в соборную церковь, в монастырь, тому угоднику, которого он особенно чтил. Этим же средством выражал он свое попечение о душе своих ближних, своих друзей, умерших в лихолетие, о душах столь многих нераскаянных грешников, о душах еще большего числа невинно погивших. Обо всех надо было подумать, всех успокоить своей жертвой. Вот почему так возрастают и умножаются пожертвования земель в церкви и монастыри, пожертвования, которые стали было несколько падать в конце XVI века. Очень любопытно, что самые большие раздачи имений исходят от семейств самых видных участников смуты. В 1612—1614 г.г. мать и вдова князя М. В. Скопина-Шуйского отдают в монастыри свои богатые переяславские и бежецкие имения. В 1613 г. боярин Ф. И. Шереметев жертвует землю в Кириллов монастырь на Белом озере. Тушинец И. В. Шереметев и сын знаменитого дьяка Василия Щелкалова отдают монастырям свои подмосковные. В 1621 г. хорошо нам известный первый боярин князь Ф. И. Мстиславский дал вкладом в усыпальницу своего рода — московский Симонов монастырь, погост Сретенский с 44 деревнями и погост Ильинский с 49 деревнями в волости Черемхе, Ярославского уезда. В 1631 г. князь Ю. А. Сицкий дает в Спасо-Ярославский монастырь вклад по своем отце, тушинском боярине, князе Андрее Васильевиче Сицком, свою родовую вотчину село Семеновское, в Ярославском уезде. В том же году Никита Иванович Одоевский пожертвовал вотчину вкладом по отце своем, боярине князе И. Н. Одоевском, который был первым новгородским воеводой во время шведской оккупации. В 1633 г. крупный земельный вклад в церковь сделал кн. Д. М. Пожарский. Смерть последнего из Шуйских, Ивана Ивановича, младшего брата царя Василия, последовавшая в 1639 г., также ознаменовалась крупными земельными вкладами. Можно было бы целые страницы исписать, перечисляя земельные пожертвования больших людей смуты и царствования Михаила Федоровича. Что делали большие люди, то делали и более мелкие их современники; вклады были меньше размерами но и количественно и относительно их было столь же много.

Непрерывным потоком, единицами, десятками, сотнями десятин вливались частновладельческие вотчины в море монастырских и церковных земельных владений. Только к половине века, когда повымерли люди, видевшие смуту, и испытавшие великое бедствие земли русской, когда выступило новое поколение, выросшее при лучших условиях, стали уменьшаться земельные вклады в монастыри, стала забываться необходимость замаливать богатыми жертвами прежние грехи.

Заключение.

Богаты событиями были первые тринадцать лет XVII века в нашей истории; они поразили современников и оставили глубокую память в последующих поколениях. Во всем многовековом промежутке, протекшем от нашествия Батыя до русской революции XX века, мы не найдем времени, которое бы потрясло основы русского государства и всей жизни русского народа столь сильно, как Смутное время. Мы проследили нить событий и отметили их последствия. Сделаем в заключение попытку уяснить общее значение Смутного времени в нашей истории. Думается, что самым важным явлением русской жизни в смуту было то, что русский народ сам, без помощи извне, нашел в себе силы спастись и тем обеспечить за собой неотъемлемое право на историческое существование. Обрушившиеся бедствия были испытанием, которое должно было доказать, может ли русский народ, оставаясь самостоятельным, сам строить свою жизнь и итти далее в своем развитии. Русский народ, спасши свою родину, сохранив свое независимое государство, выдержал посланное ему испытание и тем самым подготовил себя к разрешению других исторических задач, к высшему напряжению своих творческих сил при великом царе преобразователе. Перенесенная болезнь закалила его и сделалась источником новых сил, которых хватило на три столетия.

Другое, не менее важное явление Смутного времени заключалось в столкновении русского государства с двумя соседними странами, более далеко, чем Москва, ушедшими по пути цивилизации и военной техники. Несмотря на свои преимущества, они не были в силах уничтожить Московское царство. С напряжением и интересом, насколько позволяли тогдашние слабые средства сообщения и осведомления, следили в Европе за великой русской разрухой. В XVI столетии Московское царство жило одиноко и замкнуто, казалось сказочной страной, где вся жизнь слагается и протекает иначе, чем в остальных странах земного шара. События начала XVII столетия своей силой и своей глубокой драматичностью приблизили Русь к Европе. Никогда так много не писали иностранцы о московских делах. Очевидцы записывали свои впечатления; не бывшие в Москве читали их и обсуждали, посвящая целые трактаты московским событиям. Почти сейчас

после смуты, Швеция, победившая русских на войне, посылает в Москву своего постоянного представителя. Россию начинают, несмотря на пережитые несчастия, считать необходимым и важным деятелем в Восточной Европе, а постепенно и в Европе вообще. На пути от полного отчуждения от мира, в каком московская Русь жила с удельных времен, к полному признанию России, как собрата европейских государств, что произошло при Петре Великом, Смутное время было очень важной гранью.

В свою очередь и русским Смутное время показало, что гордое одиночество, в котором Русь пребывала при Иване Грозном, отжило свой век. «Немецкая кованая рать» слишком ясно доказала свое превосходство над русскими ополчениями. Один раз гроза пронеслась; к счастью, польский гарнизон в Москве был не силен, а у польского короля, непременно хотевшего воцариться в Москве, средств было мало. Но в другой раз могло быть и иначе; чтобы всегда успешно противостоять натискам с Запада, надо было усвоить себе европейскую материальную культуру, обучить армию так, как это делали в Европе, усвоить себе всю западно-европейскую технику. На этот путь Россия стала окончательно только при Петре Великом, но первые шаги делались и ранее, при его отце Алексее и деде Михаиле. Они делались под влиянием тяжелого опыта Смутного времени, которое в такой же степени предопределило необходимость материальных реформ Петра Великого, в какой оно подготовило почву для них с духовной стороны, ибо оно было тем молотом, который ценою тяжелых испытаний выковал в московских людях любовь к родине, национальный дух и волю к дальнейшей самостоятельной исторической жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ.

ГЛАВА I. 1) Полн. Собр. Русск. Летоп., XIV, 1 пол., Новый летописец, статья 87. 2) П. С. Р. Л., VIII, 56. 3) Р. Ист. Библ., XXXI, 221. 4) П. С. Р. Л., VI, 192. 5) Акты Арх. Эксп., I, стр. 142. 6) Герберштейн.

ГЛАВА II. 7) Авр. Палицын, Р. И. Б., XIII, 477, 975; Катырев-Ростовский, Р. И. Б., XII, 562—565. 8) Катырев-Ростовский, Р. И. Б., XIII, 708. 9) Historica Russiae Monumenta, II, № 3, стр. 2—3. 10) Временник Ив. Тимофеева, Р. И. Б., XIII, 315. 11) Флетчер, 21 (изд. Суворина). 12) Буссов, Летопись Московская (Сказания совр. о Дм. Самозванце, I, 3—4). 13) А. Палицын, Р. И. Б., XIII, 970; 13а) Катырев-Ростовский, Р. И. Б., XIII, 708. 14) Архив М. Ин. Дел, Дела польские; Карамзин, Ист. Гос. Росс., прим. 190 к т. X. 15) А. Палицын, Р. И. Б., XIII, 977. 16) А. Палицын, Р. И. Б., XIII, 978, 979. 17) Нов. Летописец, статья 87.

ГЛАВА III. 18) Нов. Лет., статья 86. 19) А. А. Э., II, №№ 26, 34, 37 и „Иное Сказание", Р. И. Б., 27, 42, 48. 20) Нов. Летоп., статья 85; А. А. Э., II, № 64. 21) Письма королю Сигизмунду III о самозванце, Р. Старина 1908, № 5. 22) Нов. Лет., статья 89. 23) Памятники обороны Смоленска, № 147 (Чтения Об. И. Др. Р., 1912, № 1). 24) Разрядн. записи за Смутное время, 200 (Чт. О. И. Д. Р., 1907, № 3). 25) Петрей (Rerum rossicarum Scriptores exteri, I, 173), 26) А. А. Э., II, № 34. 27) Акты исторические, II, № 153; Пам. обороны Смоленска, № 147, 280. 28) Р. И. Б., XIII, 990. 29) Жолкевский, Начало и успех Московской войны, 10, 25.

ГЛАВА IV. 30) Нов. Лет., статья 120. 31) Нов. Лет., ст. 120, А. А. Э. II, № 44, „Иное Сказание" Р. И. Б., XIII, 70. 32) Нов. Лет., там же. 33) А. А. Э., I, № 44. 34) Соловьев. История России, II, т. VIII, 835. 35) А. А. Э., II №№ 57 и 58. 36) Нов. Лет., статья 129. 37) I-я Псков. Лет. (II. С. Р. Лет. IV, 326. 38) А. А. Э., II, № 85. 39) Сборник князя Хилкова № 12, VII, стр. 19 40) Буссов, Летопись Московская, 147. 41) Лыдинский. Углицкие акты, № 6 42) Тихонравов, Владимирский Сборник, 135. 43) Нов. Лет., статья 124. 44) Временник дьяка Ив. Тимофеева. Р. И. Б., XIII, 400. 45) Сборник князя Хилкова № 12, LXV, стр. 71.

ГЛАВА V. 46) Буссов (Сказания о Дм. Самозв. I, 129—130). 47) Жолкевский, 11. 48) Соловьев, II, т. VIII, 893. 49) Нов. Лет., статья 227. 50) Нов. Лет., статья 227. 51) Жолкевский, 115—116. 52) Нов. Лет., статьи 229, 230, 231, 234, 235, 236. 53) Собр. Гос. грамот и договоров, II, № 200. 54) Жолкевский, 133. 55) Соловьев, II, т. VIII, 1076. 56) Нов. Лет., статья 139, 57) Новая Повесть, Р. И. Б., XIII, 215.

ГЛАВА VI. 58) А. А. Э., II, № 88. 59) Палицын, Сказание, Р. И. Б., XIII, 1154. 60) Новая Повесть, Р. И. Б., XIII, 187—215; Нов. Лет., статья 252. 61) Нов. Лет., статья 259. 62) Катырев, Р. И. Б., XIII, 609. 63) Нов. Летоп., статья 271. 64) Нов. Лет., статья 270. 65) Попов, Изборник, 352. 66) Веселовский. Акты подмосковных ополчений, №№ 18, 19, 23—27, 30—34, 39, 41, 43, 46—48, 51—55. 67) А. А. Э., II, № 194, II. 68) А. А. Э., II, № 194, II. 69) Нов. Лет. под ред. кн. Оболенского. (Времен. О. И. Б. Р., т. XVII) 140. 70) А. А. Э., II, № 197. 71) Нов. Лет., статья 286. 72) А. А. Э., II, № 203.

ГЛАВА VII. 73) А. А. Э., № 197. 74) Веселовский. Акты подмосковных ополчений, № 82. 75) Соловьев. История России, кн. 2, т. VIII, 835. 76) А. А. Э., II, №№ 197, 201; А. И. II, № 335. 77) Нов. Летописец по списку кн. Оболенского (Врем. Общ. Истор. Древ. России, XVII, 60. 78) Нов. Лет., статья 330. 79) Дворцовые разряды I, 15. 80) Нов. Летописец, статья 329. 81) Дворц. разр. I, 13. 82) Хронограф князя Оболенского. Забелин, Минин и Пожарский, 510, прил. XVI. 83) Там же. 84) Барсуков. Род Шереметевых, II, 311, прим. 415. 85) Нов. Лет., статья 330. 86) Нов. Летописец, ст. 332.

ГЛАВА VIII. 87) А. И., II, № 38, XXXIII. 88) Р. Архив 1882 г. II, 313. 89) Катырев, Р. И. Б. XIII, 622. 90) Нов. Лет., статья 178. 91) Нов. Повесть, Р. И. Б., XIII, 203 — 204. 92) 1-я Псков. Летоп., П. С. Р. Л., IV, 324—325. 93) Нов. Лет., ст. 141. 94) А. И. II, № 119. 95) А. И. II, № 121. 96) Сухотин. Земельные пожалования при царе Владиславе. 97) Нов. Повесть, Р. И. В., XIII, 214 — 216. 98) Памятники обороны Смоленска. №№ 143, 280. 99) Буссов (Сказ. о Дм. Сам I, 113). 100) Нов. Лет., статья 169. 101) Нов. Летоп., статья 188. 102) Пам. обороны Смоленска, №№ 113, 137, 193, 195, 202, 103) Виление мужу духовну. Р. И. Б., XIII, 177 — 184. 104) Иное видение, Р. И. Б., XIII, 184—186. 105) А. А. Э., II, № 88. 106) Собр. гос. грамот и договоров, II, № 226). 107) Временник Ив. Тимофеева, Р. И. Б., XIII, 458, 460, 462, 475. 108) Палицын, Р. И. Б., XIII, 479. 109) Катырев, Р. И. Б., XIII, 662. 110) Собр. гос. грам. и дог., II, № 251. 111) А. А. Э., II, № 201. 112) С. Г. Г. и Д., II, № 275. 113) С. Г. Г. и Д. II, 281. 114) Нов. Повесть, Р. И. Б. XIII, 187—222. 115) А. А. Э., II, № 89. 116) А. А. Э., II, № 162.

ГЛАВА IX. 117) Разр. книги I, 1. 118) Гарелин. Акты Шуи, № 15. 119) Моск. Архив Мин. Юстиции, писцовая книга 253, л.л. 59, 67. 120) А. М. Ю., писц. кн. 10326, л. 403. 121) А. М. Ю., писц. кн. 683, л. 205. 122) Белевская Вивлиофика. 123) А. М. Ю., писц. кн. 833, л. 96. 124) Акты, отн. до юрид. быта, I, № 31, XXV. 125) Дополнения к акт. Ист. I, № 159. 126). Сухотин, первые месяцы царствования Михаила Федоровича, 50. 127). Акты Моск. государства, II, № 195. 128) А. М. Ю., столб. разр. приказа Моск. стола, № 11, л. 76. 129) А. М. Ю. писц. книга 190, л 238.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. Что такое смута . . . . .

Глава I. Что подготовило смуту . . . . . .

„ II. Начало смуты . . . . . .

„ III. Первые перевороты . . . . . .

„ IV. Смута в народных массах . . . . .

„ V. Развал государства . . . . . .

„ VI. Спасение Русской земли . . . . . .

„ VII. Конец смуты . . . . . .

„ VIII. Смута и современники. Их действия и

„ IX. Смута в народном хозяйстве . . . .

„ X. Последствия смуты и реакция после

Заключение . . . . . .

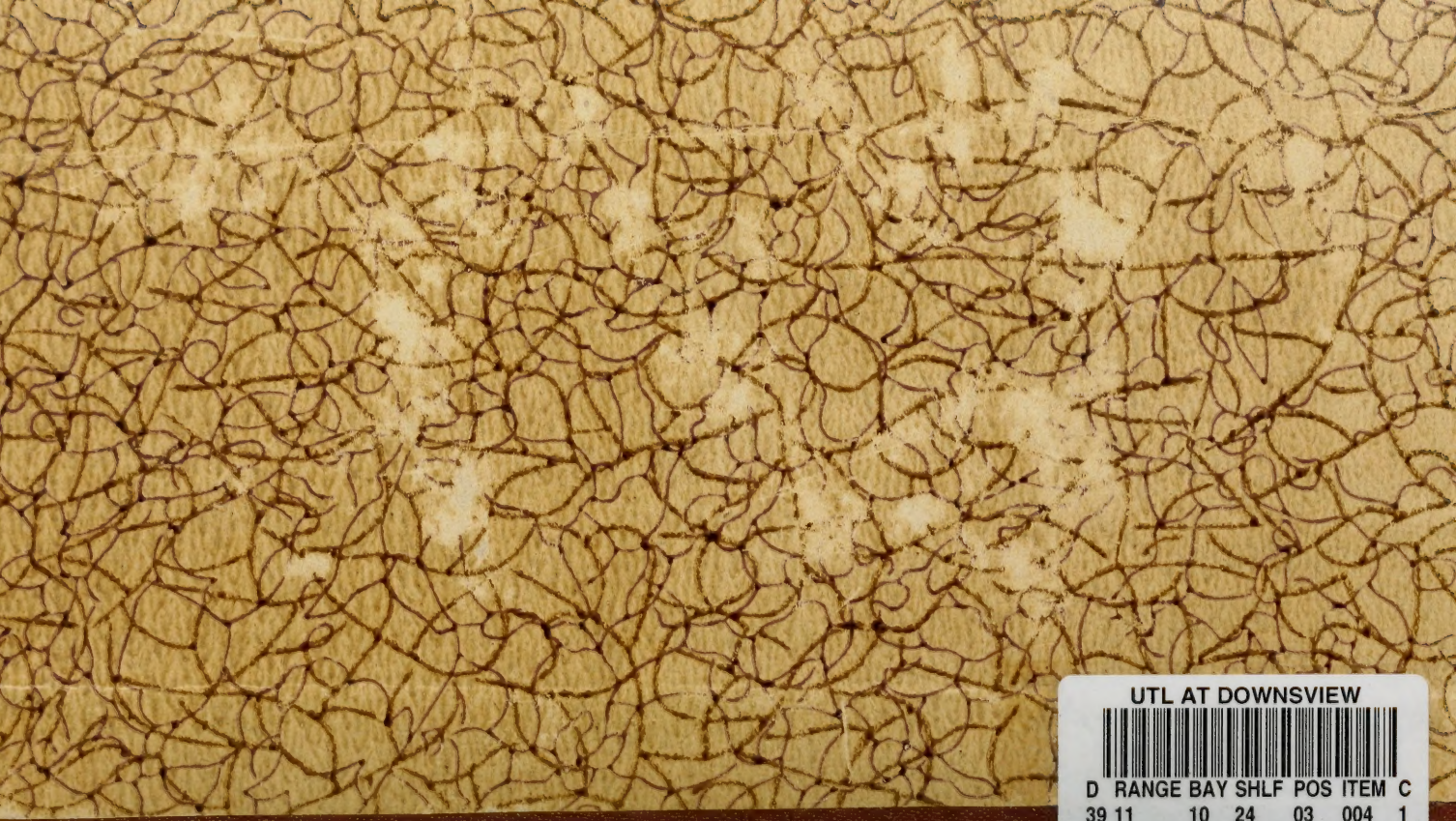
Примечания . . . . . .

DK
111
G6

Got'e, IUrii Vladimirovich
Smutnoe vremia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 11 10 24 03 004 1